

INSPIRIA

Шорт-лист
Букера
2020

авни ДОШИ

«Впечатляющая,
но и опасная книга».

Элизабет Гилберт, автор романа
«Есть, молиться, любить»



жженый сахар



INSPIRIA

Loft. Букеровская коллекция

Авни Доши
Жженый сахар

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Доши А.

Жженный сахар / А. Доши — «Эксмо», 2020 — (Loft.
Букеровская коллекция)

ISBN 978-5-04-156608-1

«Жженный сахар» - история о любви, непонимании и предательстве. Но не между любовниками, а между матерью и дочерью. Авни Доши поднимает острую и болезненную тему, которая до сих пор отчасти табуирована в обществе. Главных героинь разделяют годы и совершенно разный жизненный опыт, но объединяет нерушимая естественная связь, которая становится для них в конечном счете разрушающей. Авни Доши настоящая космополитка. Этническая индианка, она родилась в американском штате Нью-Джерси, а ныне проживает в Дубае. «Жженный сахар» — ее дебютный роман, который издан более чем в 20 странах и попал в шорт-лист Букеровской премии. По книге планируется экранизация. «Авни Доши семь лет писала свой первый роман, который был номинирован на Букеровскую премию. Поздравляем. Хорошее начало». — Euronews «Авни Доши не просто талантливый писатель, она творец. Ее фразы резкие, невероятно точные. Это история без прикрас». — New York Times Review «Восхитительно и изысканно, невозможно оторваться». — Observer «Тревожный дебют, поражающий своим ядом и обезоруживающий своим юмором». — Guardian

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-156608-1

© Доши А., 2020

© Эксмо, 2020

Авни Доши

Жженный сахар

Avni Doshi

Burnt Sugar

Copyright © by Avni Doshi, 2020 By agreement with Pontas Literary & Film Agency

Cover design © Holly Ovenden

Фотография на обложке: © Stanislas Augris / EyeEm / Gettyimages.ru.

Фотография на форзаце: © Benedikt Hilscher / EyeEm / Gettyimages.ru.

© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2021

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.



«Жженный сахар» не получится прочесть со спокойным сердцем – эта история пройдет по нему, как скальпель. Но вы не захотите отложить эту книгу, она завораживает. Для меня дебютный роман Авни Доши стал одним из самых ярких открытий и заслуженной номинацией на Букеровскую премию.

Виктория Стрюкова, ведущий редактор Inspiria

«Авни Доши семь лет писала свой первый роман, который был номинирован на Букеровскую премию. Поздравляем. Хорошее начало».

Euronews

«Авни Доши не просто талантливый писатель, она творец. Ее фразы резкие, невероятно точные. Это история без прикрас».

New York Review

«Тревожный дебют, поражающий своим ядом и обезоруживающий своим юмором».

Guardian

«Впечатляющая, но и опасная книга».
Элизабет Гилберт, автор романа «Есть, молиться, любить»

Эту книгу я посвящаю Ниши, Нарену и Пушпе Бесстрашной

Ma, amī tumar kachchey aamar porisoī diti diti biakul oya dzai
Мама, я так устала, устала представляться тебе.
Рехна Султана. Мать

Я совру, если скажу, что не злорадствую, глядя на мамины беды.

Ребенком я столько всего от нее натерпелась, что каждая из теперешних ее напастей воспринимается мной как возмездие – восстановление равновесия во вселенной, где действует рациональный порядок причин и следствий.

Но я уже не могу сравнять счет.

Причина проста: мама все забывает, и я не знаю, как с этим бороться. Ее никак не заставишь вспомнить все то, что она делала в прошлом, а значит, и не навяжешь ей чувство вины. Раньше я ей постоянно напоминала о ее прежней жестокости – как бы вскользь, просто к слову в разговорах за чаем, – и наблюдала, как она хмурится. Теперь она просто не понимает, о чем я говорю; в ее глазах плещется чистая, незамутненная радость. Взгляд блуждает вдали. Если при этом присутствует кто-то из посторонних, он прикасается к моей руке и шепчет: «Не надо. Она не помнит, бедняжка».

Сочувствие, которое она вызывает у других, порождает во мне только горечь и злость.

Я заподозрила неладное еще год назад, когда она по ночам начала бродить по квартире. Кашта, ее домработница, звонила мне каждый раз, жутко напуганная.

– Ваша мама ищет клеенку, – однажды сказала Кашта. – Боится, что вы опишите кровать.

Держа телефонную трубку подальше от уха, я нашарила на тумбочке свои очки. Рядом со мной тихо посапывал спящий муж, беруши у него в ушах светились в темноте.

– Ей, наверное, что-то приснилось, – сказала я.

Кашту это не убедило.

– Я не знала, что вы мочились в постель.

В ту ночь я уже не смогла уснуть. Даже в своем безумии мать умудрилась меня унижить.

Однажды к маме пришла уборщица, и она ее не узнала. Были и другие случаи: когда мама забыла, как платить за электричество, когда она поставила свою машину не на то место на стоянке у дома. Это было полгода назад.

Иногда я пытаюсь представить, что будет в конце, когда она превратится в гниющий овощ. Забудет, как говорить, как контролировать свой мочевой пузырь, и однажды забудет, как дышать. Человеческую дегенерацию можно замедлить, приостановить, но она необратима.

Дилип, мой муж, говорит, что мамину память надо тренировать. Я записываю разные случаи из ее прошлого на маленьких листочках бумаги и прячу их по углам в ее квартире. Иногда она их находит, звонит мне и смеется.

– Даже не верится, что у моей дочери такой жуткий почерк.

В тот день, когда мама забыла название улицы, где прожила двадцать лет, она позвонила мне и сказала, что купила упаковку бритвенных лезвий и не побоится пустить их в дело, если ее состояние будет ухудшаться. Сказала и разрыдалась. В трубке слышались фоном гудки клаксонов, крики людей. Обычные уличные шумы. Мама закашлялась и сбилась с мысли. Я почти

явственно слышала запах выхлопных газов из тарахтелки ее моторики, почти видела клубы черного дыма, как будто стояла с ней рядом. На мгновение мне стало плохо. Может быть, это худшее из страданий: наблюдать разрушение близкого человека, когда все ускользает и ты не знаешь, что делать. С другой стороны, я точно знала, что это ложь. Мама не стала бы тратить понапрасну. Зачем покупать целую упаковку, если хватит одного лезвия? У нее всегда была склонность проявлять чувства на людях. Я придумала такой компромисс: сказала маме, чтобы она не устраивала спектакль, но сделала себе мысленную пометку, что в следующий раз, когда я приду к ней, надо будет поискать лезвия и потихонечку выкинуть все, что найдется. Если что-то найдется.

С мамой я только и делаю, что подмечаю подробности: когда она засыпает ночью, с очками для чтения, съехавшими с ее сального носа, сколько слоеных пирожных она ест на завтрак, – я пытаюсь отслеживать каждую мелочь. Я знаю, как уходить от ответственности; знаю, где именно шероховатая поверхность истории отполирована до зеркального блеска.

Иногда, когда я ее навещаю, она просит меня позвонить ее старым подругам, которых давно нет в живых.

Когда-то мама с первого раза запоминала любой кулинарный рецепт. Без труда вспоминала составы чаев, которыми ее угощали в гостях. Готовя еду, она брала нужные специи с полки не глядя.

Она помнила, как соседи-меманы – к ужасу домовладельца-джайна – резали коз в Курбан-байрам на балконе над прежней квартирой ее родителей и как портной-мусульманин с жесткими, словно проволока, волосами однажды вручил ей маленький ржавый тазик, чтобы собирать кровь. Она помнила металлический привкус во рту. Помнила, как облизала свои алые пальцы.

– Моя первая в жизни невегетарианская еда, – сказала она.

Мы сидели у реки в Аланди. Паломники мылись, скорбящие высыпали прах в мутную воду. Река цвета гангрены вяло несла свои воды куда-то вдаль. Маме хотелось хоть ненадолго сбежать из дома, от бабушки, от разговоров о моем отце. Это было в тот промежуточный период, когда мы уже ушли из ашрама, но меня еще не отослали в монастырскую школу. У нас с мамой установилось временное перемирие, и тогда я еще верила, что все худшее позади. Она не сказала, куда мы идем в темноте, и я не сумела прочесть табличку в окне автобуса, на который мы сели. У меня урчало в животе от страха, что мы вновь исчезнем по мамину капризу, но мы просто сидели у реки, там, где нас высадил безымянный автобус, и, когда взошло солнце, лужи бензина, разлившегося по воде, заискрились всеми цветами радуги. Когда стало жарко, мы вернулись домой. Бабушка с дедушкой были в ярости, но мама сказала, что мы гуляли по микрорайону. Они ей поверили, потому что хотели верить, хотя ее выдумка получилась не слишком правдоподобной, потому что их микрорайон был не настолько большим, чтобы в нем потеряться. Мама улыбалась, когда говорила, – врать она мастерица.

Ее вранье произвело на меня впечатление. Одно время мне тоже хотелось освоить умение врать без зазрения совести; других полезных умений у матери не было. Дедушка с бабушкой расспросили привратника, но он не смог ничего подтвердить – он часто спал на посту. Так что мы как бы приостановились в этой мертвой точке, как это будет еще не раз, и каждый держался за свою ложь в твердой уверенности, что его интересы возобладают. Позже бабушка с дедушкой расспросили меня еще раз, и я повторила мамину выдумку. Тогда я еще не умела думать своей головой. Я была послушной, как пес.

Иногда я говорю о маме в прошедшем времени, хотя она еще жива. Она бы, наверное, обиделась, если бы смогла это запомнить. На данный момент Дилип – ее любимчик. Дилип – идеальный зять. Их общение не затуманено ожиданиями. Он не знал маму такой, какой она

была раньше, – он принимает ее такой, как есть, и с радостью вновь называет себя, если она забывает, как его зовут.

Мне хочется воспринимать ее так же, но та мама, которую я помню, появляется и исчезает передо мной: заводная кукла с испорченным механизмом. Кукла больше не движется. Чары рассеялись. Ребенок не знает, что реально, что нет. Не знает, чему можно верить. Может, она никогда и не знала. Ребенок плачет.

Жалко, что в Индии нет эвтаназии, как в Нидерландах. Не только ради достоинства пациента, но и ради достоинства всех причастных.

Я должна горевать, а не злиться.

Иногда я все-таки плачу, когда меня никто не видит. Да, я горюю, но тело сжигать еще рано.

Часы на стене в кабинете врача настойчиво требуют к себе внимания. Часовая стрелка застыла на единице. Минутная – между восьмеркой и девяткой. В таком положении они остаются уже полчаса. Часы на стене – угасающий пережиток иных времен. Они давно поломались, и никто их не заменил.

Но что бесит больше всего, так это секундная стрелка, единственная из всех стрелок, которая движется. Не только вперед, но и назад: то туда, то сюда, с беспорядочными, совершенно непредсказуемыми интервалами.

У меня урчит в животе.

Слышимый вздох облегчения проносится по приемной, когда секундная стрелка прекращает движение, но она притворяется мертвой лишь долю мгновения и сдвигается снова. Я на нее не смотрю, но тиканье разносится эхом по всей комнате.

Я смотрю на маму. Она дремлет на стуле.

Я буквально физически ощущаю, как тиканье настенных часов проходит сквозь мое тело, меняет мой сердечный ритм. Это не просто тик-так. Тик-так – вездесущее звучание, пульс, дыхание, слово. Тик-так содержит в себе биологический резонанс, который ты пропускаешь через себя, даже не замечая. Но это тиканье совсем другое: тик-тик-тик, потом долгая пауза, а затем так-тик-так.

Мама спит, открыв рот, бесформенный, точно смятый бумажный пакет.

Сквозь панель из волнистого стекла мне видны какие-то люди, сгрудившиеся вокруг узкого стола. Они слушают комментатора крикетного матча, ликуют, купаясь в радиоволнах, истекающих из динамика. Тиканье снова меняет ритм.

В кабинете у доктора нас ждут другие часы, нарисованные на бумаге. Только круг циферблата и стрелки, без цифр.

– Проставьте, пожалуйста, числа, миссис Ламба, – говорит маме врач.

Она берет у него механический карандаш и начинает с цифры «один». На «пятнадцати» врач говорит, что достаточно.

– Вы знаете, какое сегодня число?

Мама смотрит на меня, потом снова на доктора. Пожимает плечами. Одно плечо поднимается выше другого. Каждое проявление ее физической деградации вызывает пронзительное отвращение. Я смотрю в стену, выкрашенную в кремовый цвет. Дипломы и сертификаты висят кривовато.

– А какой сейчас год?

Мама медленно кивает.

– Начните с тысяч, – говорит врач.

Она открывает рот, уголки ее губ опускаются вниз, как у рыбы.

– Тысяча девятьсот... – медленно произносит она, глядя куда-то в пространство.

Врач качает головой:

– Вы, наверное, хотели сказать «две тысячи»?

Она радостно с ним соглашается и улыбается, словно гордится каким-то большим достижением. Мы с врачом выразительно переглядываемся.

Он говорит, что в особенных случаях они делают пункцию для диагностического извлечения спинномозговой жидкости, но он пока не решил, можно ли квалифицировать мамин случай как особенный. Он направляет ее на УЗИ и анализы крови, щупает лимфоузлы, крепит снимок маминого мозга на подсвеченную стеклянную панель. Анализирует расположение теней, ищет черные дыры. Он утверждает, что у нее мозг молодой женщины. Мозг, который прекрасно справляется со своими функциями.

Я уточняю, каковы функции мозга. Активировать нейроны и распределять электрические сигналы?

Он смотрит, прищурившись, и не отвечает на мой вопрос. У него квадратная челюсть и, похоже, неправильный прикус.

– Но мама все забывает, – говорю я.

– Да, так и есть, – говорит он, и теперь я различаю его шепелявость. Врач рисует картинку на листе бумаги. Человеческий мозг в виде пушистого облака. Он слишком быстро отрывает ручку от бумаги, и волнистые линии получаются разомкнутыми, словно облако продырявлено. – В таких случаях следует ожидать постепенного снижения когнитивных способностей, которое выражается в потере памяти и изменении личности. Симптомы, не так уж и сильно отличные от тех, что мы уже замечаем. Что замечаете вы, – поправляется он. – Пока непонятно, насколько крепка ее связь с реальностью на данный момент.

Он берет карандаш и заштриховывает те участки, где синаптический аппарат дает сбой, где отмирают нейроны. Девственно белое облако наполняется темными пятнами. Просветы в разомкнутых линиях начинают казаться истинной благодатью, сквозь них внутрь проходит хоть какой-то воздух. Гомогенетическая кора, лимбическая система и подкорковые структуры покрываются грязной, неаккуратной штриховкой. Я сижу, подложив под себя ладони.

Гиппокамп – банк памяти. При данной болезни его хранилища опустошаются. Долговременная память не формируется, кратковременная рассеивается, как дым. Настоящее становится зыбким и хрупким, и все только что произошедшее забывается в считанные секунды, словно оно и вовсе не происходило. Когда начинает отказывать гиппокамп, пространство может казаться иным, искаженным.

– Не было ли у нее серьезных травм головы? Не подвергалась ли она длительному воздействию токсинов? Возможно, тяжелых металлов? У кого-то из вашей ближайшей родни были аналогичные проблемы с памятью? Или проблемы с иммунитетом? Прошу прощения, но я вынужден спросить про ВИЧ и СПИД.

Он сыплет вопросами, не давая мне времени на ответы, и я понимаю, что ответы ему не нужны. Что бы я ни сказала, это будет, по сути, неважно. Мамина история совершенно не соотносится с ее диагнозом.

Внутри складок облака врач рисует звездочку. Рядом с ней пишет: «Амилоидная бляшка». Амилоидные бляшки – это белковые скопления между нейронами, образующиеся в мозге при болезни Альцгеймера.

Я спрашиваю:

– УЗИ показало у мамы такие бляшки?

– Нет, – говорит он. – По крайней мере, пока еще нет. Но ваша мама все забывает.

Я говорю ему, что совершенно не понимаю, как такое может быть, и в ответ он выдает целый список фармацевтических препаратов. «Донепезил» наиболее популярный. Врач пишет название и трижды обводит его кружочком.

– Какие у него побочные действия?

– Высокое кровяное давление, головные боли, расстройство желудка, депрессия.

Он глядит в потолок, щурится, пытается вспомнить другие побочные действия. На рисунке амилоидная бляшка выглядит не так уж и страшно. Напоминает одинокий клубочек пряжи. Я говорю это вслух и тут же жалею о сказанном.

– Она вяжет? – спрашивает врач.

– Нет. Она ненавидит женские рукоделия. Вообще все, что связано с домашним уютом. Кроме стряпни. Мама прекрасно готовит.

– Жаль, что не вяжет. Вязание, когда становится мышечной памятью, уже не требует сосредоточенности в определенных участках мозга, но все равно их стимулирует.

Я пожимаю плечами:

– Я, конечно, попробую ее убедить. Но вряд ли она согласится.

– При ее состоянии ни в чем нельзя быть уверенным, – говорит он. – Завтра она может проснуться совершенно другим человеком.

Когда мы уже собираемся уходить, доктор интересуется, не состоим ли мы в родстве с неким доктором Винаем Ламбой, главврачом в одной из крупных бомбейских больниц. Я говорю, что не состоим, и он, кажется, разочарован, опечален за нас. У меня даже мелькает мысль, что, возможно, выдуманное родство могло бы как-то помочь.

Он спрашивает:

– С кем живет ваша мама? С мужем или, может быть, с сыном?

Я отвечаю:

– Нет. Сейчас она живет одна.

– Не грызи ногти, – говорит мне мама по дороге домой.

Я возвращаю правую руку на руль, стараясь не сжимать его слишком сильно, но моя левая рука машинально тянется ко рту.

– Вообще-то я не грызу ногти. Я кусаю кутикулы.

Она отвечает, что это без разницы, и ругает меня за дурацкую привычку. Ей жаль мои пальцы, которые выглядят так кошмарно, хотя я многое делаю руками. Я молчу, а она говорит всю дорогу. Я не слушаю, *что* она говорит, но слушаю, *как* говорит: ритм ее речи, оговорки, заминки в голосе, когда она говорит совершенно не то, что думает, и начинает отчитывать меня, чтобы скрыть собственную неуверенность. Она извиняется, говорит, что сама виновата в своих ошибках, благодарит меня и вздыхает, растирая пальцами виски. Ее губы заметно ввалились сбоку, в том месте, где недостает двух зубов. У нее такой вид, словно она съела что-то горькое.

Я спрашиваю, с кем она говорит, но мама не отвечает. На всякий случай я оглядываюсь на заднее сиденье.

У нее дома мы пьем чай с диетическим печеньем, потому что это ее любимое лакомство и сегодня у нее был тяжелый день. Я прошу Кашту приготовить мне пасту из меда и имбиря, чтобы успокоить першение в горле. Мама молча прислушивается, а потом говорит:

– Добавь чуть-чуть свежего корня куркумы. Буквально кусочек размером с крайнюю плоть младенчика.

Она прижимает ноготь большого пальца к кончику указательного, отмеряя точное количество. Потом опускает глаза и сосредоточенно глядит в свою чашку.

– Может, не надо о крайней плоти? – говорю я, ломая печенье пополам.

– А что тут такого? Ты просто ханжа.

Она хорошо помнит, как задеть меня побольнее.

В ее квартире царит беспорядок. Я пересыпаю соль из трех полупустых солонок в одну. На обеденном столе лежит стопка нетронутых газет. Мама просит их не выбрасывать, говорит, что когда-нибудь прочитает.

Я высыпаю фасоль из мешочка в металлический тхали и тщательно перебираю, ищу нелущенные зерна. Кашта пытается отобрать у меня тарелку, но я отталкиваю ее руку. Убедившись, что все нелущенные зерна отложены, я начинаю раскладывать лущенные по цветам: темно-зеленые, бежевые, коричневые. Мама смотрит на аккуратные кучки и качает головой. Я хрущу пальцами и продолжаю разбирать зерна. Я знаю, что они все равно перемешаются в кастрюле, но я начала и уже не могу остановиться, не могу прекратить поиск различий, пока каждое зернышко не окажется на своем месте, в окружении своего племени.

Мама дремлет на диване, и на секунду мне кажется, что я очень даже способна представить, какой она станет, когда умрет, когда смягчатся ее черты и воздух уже навсегда выйдет из легких. Вокруг нее вещи: газеты и фотографии в рамках, на фотографиях – лица людей, с которыми она не виделась много лет. Среди этих вещей ее тело кажется безжизненным и одиноким, и у меня вдруг мелькает мысль, что, может быть, представление, которое мы разыгрываем перед миром, стимулирует циркуляцию неких жизненно важных токов, и в присутствии зрителей сердце бодрее качает кровь. Очень просто рассыпаться на кусочки, когда тебя никто не видит.

Моя прежняя комната отличается от всего остального пространства квартиры, как кусок пересаженной чужой кожи. Там царит идеальный порядок, безупречная симметричность, которую я оставила, уходя, и которую даже она, моя мать, не сумела разрушить. На стене в одинаковых рамках висят черно-белые наброски портретов, на расстоянии ровно в пять сантиметров друг от друга. Кровать застелена свежим бельем, но, когда я пытаюсь разгладить ладонью складки на простыне, выясняется, что они накрепко заутюжены в ткань.

После последних выборов мама ругается с телевизором каждый раз, когда на экране появляется новый премьер-министр. Он носит свою шафранную мантию как атрибут божества – складки на стилизованной плиссировке всегда располагаются на одном и том же месте. Из-за этого человека, говорит мама, у нее никогда не было настоящей любви.

Я просыпаюсь в темноте. Экран моего телефона освещен дюжиной пропущенных звонков от Дилипа. Из-под двери гостиной сочится мигающий свет. Видимо, мама смотрит телевизор, приглушив звук.

Небо темное, но промышленный комплекс в пятнадцати километрах отсюда испускает розовое свечение, словно прелюдию рассвета. Когда я вхожу в комнату, мамы на диване нет, и я не сразу нахожу ее взглядом. Она стоит за прозрачной тюлевой занавеской, прижавшись всем телом к оконному стеклу. Плотные боковые шторы, белые в черный «огурец», частично скрывают ее фигуру, окутав узором теней. Ее темное родимое пятно видно даже сквозь тюль: длинный тонкий овал на лопатке, как мишень у нее на спине. Ее грудь не шевелится, словно она не дышит.

Полностью голая, она делает шаг назад и глядит на свое отражение в стекле. Глядит на мое отражение, возникающее рядом с ней. Ее взгляд мечется между двумя отражениями, словно она не отличает одно от другого. Противоположности часто бывают похожи.

Я прикасаюсь к ее локтю, и она испуганно вздрагивает. Потом указывает на экран телевизора, на человека, чей голос она заглушила с пульта.

– Вы все заодно, – шепчет она.

– Мама.

Я пытаюсь ее успокоить, увести прочь от окна, но она пятится от меня, смотрит совершенно дикими глазами, и мне кажется, что она меня не узнает. Она быстро приходит в себя, но мне хватает и этой секунды, когда мама не знала, кто я. В эту секунду я стала никем.

Уложив маму в постель, я звоню ее доктору. У него хриплый, недовольный голос. Он спрашивает, откуда у меня его номер. Мой звонок вдруг становится чем-то интимным, почти неприличным, словно я перешла некую запретную черту. Его жена наверняка лежит рядом,

разбуженная звонком. Я представляю их обоих в постели, представляю их смятые ночные одежды. Я чувствую, как между ног становится влажно.

– На секунду мама меня не узнала, – говорю я.

– Такое бывает. Вам следует ознакомиться с прогрессирующими симптомами. – Его язык сонно ворочается во рту, его голос выдает раздражение, и у меня ощущение, будто я провалила экзамен.

Целый день я размышляю, ищу информацию, строю гипотезы. Я никогда не интересовалась наукой, но теперь поневоле приходится разбираться в замысловатой терминологии.

Я изучаю химический состав маминого лекарства, рассматриваю схематические изображения молекул. Вереница элегантных шестиугольников и болтающийся на конце хлороводородный хвостик. Я читаю статьи об исследованиях на животных, на мозге крыс. Таблетки, которые прописали маме, ингибируют фермент холинэстеразу: она расщепляет нейромедиатор ацетилхолин. Нерасщепленный ацетилхолин помогает замедлить болезнь и облегчить симптомы.

Но избыток ацетилхолина вызывает опасную интоксикацию.

Ацетилхолин содержится в пестицидах и в боевых отравляющих веществах, в частности в нервно-паралитическом газе.

Вещество в малых дозах может быть панацеей. В больших дозах оно убивает.

Я открываю другое окно. Бактерии *helicobacter pylori* способствуют возникновению язвы желудка и рака, если их слишком много, но при их полном отсутствии у детей развивается астма.

Всего должно быть в меру.

Подобных действий гораздо больше, чем говорил врач. Я хочу позвонить ему снова, но опасаясь. У меня с ним натянутые отношения. Если это можно назвать отношениями. Я изо всех сил стараюсь об этом не думать.

Я нашла несколько форумов, где ругают «Донепезил», который как минимум неэффективен. Для поддержания умственного здоровья настоятельно рекомендуется крилевое масло. В самом строении этих мелких морских рачков с тонкими ножками-ниточками есть какая-то очаровательная завершенность. Крыль лучше, чем рыба, и в прилагающейся диаграмме объясняется почему: фосфолипиды, содержащиеся в крилевом масле, лучше усваиваются организмом.

Я переписываю в блокнот химическую формулу, срисовываю с экрана молекулярную схему, но мои рисунки расходятся с оригиналом: они больше похожи на крыль, чем на молекулы. Сложный этиловый эфир превращается в хрупкий панцирь, жирные кислоты – в расплавленные плавательные ножки. Когда я пытаюсь оформить покупку масла, сайт выдает предупреждение, что компания не гарантирует быструю доставку в Индию и не несет ответственности за таможенные задержки.

Мне также напоминают, что данное масло является светочувствительным препаратом и быстро портится при высоких температурах.

Мой муж Дилип родился и вырос в Америке. Он ломает лепешки роти двумя руками. Мы с ним познакомились два года назад, когда он приехал работать в Пуну. Командировка в Индию была для него понижением по службе, но он не обмолвился об этом ни словом, когда подсел за мой столик в немецкой кондитерской на Норт-Мейн-роуд. Я не ожидала, что в воскресенье так рано утром в кафе придет еще кто-нибудь, кроме меня. Тем более что туда вообще мало кто ходит после теракта 2010 года, когда прямо в обеденном зале взорвалась бомба.

Я сидела на красном пластмассовом стуле, уткнувшись в экран своего ноутбука, и Дилип присел на свободный стул рядом со мной. Посмотрел на меня и улыбнулся. У него были ровные белоснежные зубы. Он спросил, знаю ли я пароль от вай-фая и не буду ли против, если он угостит меня кофе. Я сказала, что от кофе становлюсь нервной и иногда меня пучит. Он спросил, над чем я работаю, и, хотя мне совсем не хотелось рассказывать ему о своих рисунках, я рассудила, что художникам не пристало бояться выдавать свои секреты незнакомцам.

Он слушал внимательно, чуть ли не затаив дыхание. Когда он наклонился поближе ко мне, его колени согнулись под острым углом, красный пластмассовый стул заскрипел под его весом. Мы устали друг на друга, и Дилип спросил, не желаю ли я разделить с ним вечернюю трапезу на выходных. Я немного зависла на слове «трапеза», но потом поняла, что он приглашает меня на ужин. (Позже я нахватаюсь от Дилипа всяких замысловатых словечек.)

Он спросил, знаю ли я хорошие рестораны поблизости от ашрама.

Я сказала, что знаю.

– В детстве я несколько лет прожила в ашраме и хорошо знаю этот район.

Свидание было приятным. Мы заказали одну на двоих большую порцию спагетти, свернутых гнездами и украшенных листьями базилика и запеченными помидорами черри, похожими на красные и желтые яйца, из которых так и не вылупились птенцы. Мы сидели за столиком в ярко освещенном саду, лица других посетителей сливались с пятнами густых теней от высоких смоковниц. Наш столик стоял в укромном уголке. Идеальное место для тайных свиданий влюбленной пары. Идеальное настолько, что, договариваясь о встрече, можно было бы указывать в сообщении лишь набор цифр – числа для обозначения времени, – потому что место в пространстве всегда оставалось бы тем же самым.

Так я ему и сказала, без всякой самоцензуры, и Дилип счел это забавной, изобретательной выдумкой. Он заметил, что я, наверное, люблю сочинять истории.

– Меня всегда привлекала максимально прозрачная коммуникация, – сказала я.

В связи с чем мне хотелось бы уточнить, свидание у нас или нет. Обычно я крутила романы либо с друзьями мужского пола, либо с теми мужчинами, с кем знакомилась через друзей, и мы оставались в таком промежуточном качестве: нечто среднее между любовниками и друзьями, – но ни с кем из них я не делила тарелку спагетти, и никто из них не платил за мой ужин в дорогом ресторане.

Дилип рассказывает историю нашего знакомства иначе. Или, может быть, она просто звучит иначе, когда произносится его голосом, с его округлыми гласными и как бы пережеванными словами. Он описывает свои чувства, возникшие при виде меня, говорит, что я выглядела как богемная художница, вспоминает, что я была в блузке, испачканной краской. Это уж точно его фантазия: я принципиально не выхожу за пределы студии в «рабочей» одежде. И не пишу красками.

Дилип вообще склонен к преувеличениям. Он говорит, что его сестра – настоящая красавица, хотя она далеко не красавица. Он называет приятными многих людей, которые явно не заслужили подобного определения. Видимо, это все потому, что он сам настоящий красавец и душа. Он любит рассказывать о миллионах друзей, оставшихся у него в Америке, но лишь четверо приехали в Пуну на нашу свадьбу. Не то чтобы я сильно расстроилась. Свадьба длилась всего два дня, по моему настоянию, и мама Дилипа сказала, что ради такого не стоит и ехать. Его родители прилетели из Штатов вместе с его сестрой и еще полудюжиной родственников. Моя бабушка заявила, что гуджаратцы из Америки составили убогонькую свадебную процессию.

Еще в период подготовки к свадьбе мама Дилипа сообщила своему астрологу дату и время моего рождения, чтобы убедиться, что звезды не воспрепятствуют моему браку с ее сыном. На самом деле мама давно потеряла мое свидетельство о рождении, еще в те времена,

когда мы были бездомными, а восстанавливать документы – большая морока, поэтому мы сами измыслили время, более-менее приближенное к настоящему.

– Я помню, было темно, – сказала мама.

– То есть берем промежуток от позднего вечера до раннего утра, – ответила я.

Мы сказали маме Дилипа, что я родилась вечером, в 20:23. Именно в двадцать три, потому что число, оканчивающееся на ноль или пятерку, могло бы показаться придуманным. За четыре месяца до свадьбы мама Дилипа позвонила мне на домашний телефон.

– Я говорила с пандитом, – сказала она. – Он очень встревожен.

Астролог составил мою натальную карту, рассчитал все дома и аспекты – и получил настораживающий результат. Мангала, красная планета, в момент моего рождения находилась как раз в доме семьи и брака.

– Ты манглик, – сказала она. – Так называют таких, как ты.

На линии были помехи, и я не расслышала и половины ее обвинительной речи. В конце она заявила, что, если я выйду замуж за ее сына, моя неукротимая огненная энергия может его убить. Я долго молчала, гадая, может быть, Дилип передумал на мне жениться и попросил свою маму, чтобы она мне позвонила и сообщила о расторжении помолвки. Я слышала, как она дышит в трубку, влажно причмокивая губами. Возможно, она ждала извинений. Но мне было не за что извиняться.

– Но ты не волнуйся, – сказала она, когда молчание затянулось настолько, что стало неловким. – Пандит сумеет поправить дело.

На следующий день пандит заявился к нам прямо домой. Не американский пандит све-крови, а местный посол доброй воли.

– Это еще зачем? – спросила мама, наблюдая, как он расстилает плетеный коврик на полу в гостиной.

– Плохое влияние в доме Марса, – пояснил он. – Очень опасно для ее мужа.

– Суеверная чушь.

Мама вырвала палочку благовоний из рук у пандита и принялась размахивать ею у него над головой.

Как ни в чем не бывало он продолжал свои приготовления. Разложил фрукты на металлических блюдах. Затем – цветы. Молоко в керамических чашках. Он принес с собой сари и расшитое золотом красное покрывало. Он уселся перед большим глиняным горшком и разжег костерок из топленого масла, древесной стружки и мятой газеты.

Дело было в самый разгар лета, в квартире жарило, как в пароварке. Я чихнула, и мне на ладонь упал темный сгусток соплей, плотный, с кровавыми прожилками, как кусочек раковой опухоли. Я не сомневалась, что это дурное предзнаменование, и потихонечку вытерла руку о бок под рубашкой. Пандит разложил на полу древесные бруски, накрыл их слоями красной и оранжевой ткани. Рассыпал зерна сырого риса, выложил из них знаки солнца, расставил цельные арековые семена, изображавшие планеты в космосе, пробормотал благословения, смысла которых я так и не уловила.

Я села напротив четырех бронзовых идолов. Они были крошечными, высотой сантиметров десять.

– Сегодня это твой муж, – сказал мне пандит.

Я уставилась на богов. Они были все на одно лицо. Все, кроме Ганеши, чей хобот изогнулся в улыбке.

– Кто из них? Или все сразу?

– Нет, только он. Вишну. – Пандит улыбнулся. – Он станет тебе первым мужем, поглотит всю твою плохую энергию, и второй муж уже не пострадает.

Вишну казался тонким и хрупким, с орлиным носом и крошечным скошенным подбородком.

Я спросила:

– А нам обязательно это делать? Нельзя просто сказать, что мы все сделали?

Пандит не ответил.

Ритуал был очень долгим – наша с Дилипом свадебная церемония и то длилась меньше. Под заунывное пение пандита я ходила кругами вокруг огня, сжимая в руке крошечную фигурку, глядя в неподвижное лицо божества. Пандит надел мне на шею простую мангалу сутру, нанес вдоль пробора красную линию из синдур в знак того, что теперь я замужняя женщина. В конце церемонии он сорвал с меня бусы и размазал алую пасту по лбу.

– Были женаты и развелись, – объявил он.

Я посмотрела в зеркало. Все лицо в красных пятнах, на шее – отметина от застёжки бус. Это был совершенно свирепый, дикарский ритуал. Пандит сердечно пожал мне руку. Потом попросил чашку чаю и намекнул, что надо бы сделать пожертвование.

За месяц до свадьбы мы с Дилипом поехали в Бомбейский аэропорт, встречать его маму. Ехать было четыре часа, и Дилип арендовал машину с водителем: большую «тойоту иннову», чтобы вместить весь мамин багаж. Когда мы приехали, его мама уже стояла на улице перед входом, обмахиваясь вместо веера каким-то буклетом и отгоняя назойливых таксистов. Рядом с ней топтался носильщик с доверху нагруженной тележкой. Моя свекровь невысокого роста, но достаточно полная и занимает собой много места, особенно если пихает прохожих локтями и загораживает им дорогу. Я помню, в тот день она была во всем розовом: брюки, футболка, босоножки, соломенная шляпка от солнца – все одного и того же ярко-розового оттенка. Она стояла с хмурым недовольным лицом, пока не увидела сына. А как только увидела, бешено замахала руками, и ее шляпка съехала набок.

– Я не была в Индии десять лет! – объявила она вместо приветствия.

Она была на удивление бодрой после долгого перелета и по дороге через живописные Западные Гаты подмечала каждую гору мусора у шоссе и сокрушенно качала головой. Я ей сказала, что в сезон дождей в горах очень красиво: когда воздух влажный и все окутано легкой туманной дымкой, – хотя в тот день летнее небо над нами было невыразительно белым. Впрочем, маму Дилипа не интересовали красоты природы. Ее скептицизм прирастал с каждым пропускным пунктом на въезде на платный участок дороги. Она каждый раз отмечала, что эти пункты строятся без учета высоты среднего автомобиля и длины человеческой руки, так что деньги кассиру, сидящему в будке, приходится передавать через посредников.

– Вот такая страна, – вздыхала она. – Хотя тоже способ обеспечить людей работой. Нанимают троих там, где хватило бы и одного.

Когда мы въехали в Пуну, широкое скоростное шоссе с его ярко раскрашенными рекламными щитами сменилось узкими улочками с крошечными предприятиями малого бизнеса: мотелями, ресторанами и магазинами велосипедов. Пока мы стояли на светофоре, из ближайших трущоб вышли двое мальчишек. Зевая и растирая глаза, они присели на корточки прямо на тротуаре.

– О боже, – сказала мама Дилипа, – вы посмотрите на этих ребят. Они не могли сделать свои дела за домом? Вот же знак, что здесь есть туалет.

Я подумала, что здесь, наверное, такой туалет, который и в страшном сне не приснится, но ничего не сказала. Я очень надеялась, что сейчас загорится «зеленый» и мы поедем. Но «зеленый» не загорался, а к двум мальчишкам присоединился третий, присевший еще ближе к дороге.

– Это безумие, – пробормотала мама Дилипа.

– Не обращай внимания, – рассмеялся Дилип.

– Стыд и срам.

Она взяла телефон и стала снимать их на видео. Я скрестила руки на груди. Я надеялась, мальчишки не заметят, что их снимают. Но они заметили. Разом поднялись на ноги и обернулись к нашей машине.

К счастью, на светофоре зажегся «зеленый». Мама Дилипа рассмеялась, когда мы тронулись с места, и всю дорогу смотрела видео на повторе. Я пыталась отвлечь ее от телефона – она впервые приехала в Пуну, – мне хотелось, чтобы она посмотрела на зеленые просторы военной базы, чтобы она оценила густую тень в аллее древних баньянов. Пуна лежит в глубине материка, у нас сухой климат. Зимой всегда холодно, летом пыльно, но здесь никогда не бывает зловонной влажности, как в Бомбее. Я предложила ей список мест, куда можно сходить: историческая крепость Шанивар Вада, бывшая резиденция местного пешвы; маленький, но красивый храм Шивы; мой любимый кондитерский магазин на Мейн-стрит – на случай, если она любит сладкое. Мы проехали мимо клуба «Пуна», где пройдет наша свадебная церемония и банкет, и я попыталась произвести впечатление на будущую свекровь, попыталась ей рассказать, как для меня важно, что наш брак с Дилипом будет зарегистрирован именно здесь; что мои бабушка с дедушкой были членами этого клуба больше сорока лет, и, хотя моя мама не проявляла особенного интереса к клубной жизни, мы с Дилипом скоро получим членство. Именно здесь, в клубе «Пуна», мы с ним впервые заговорили о свадьбе: за пивом в баре после воскресного посещения бассейна. Я не стала рассказывать о других своих воспоминаниях, связанных с клубом. Не стала рассказывать, как я сидела у этих священных ворот, будто нищенка. Некоторые истории лучше рассказывать после свадьбы.

Мама Дилипа взглянула в окно, кивнула и улыбнулась, растянув губы в тонкую линию: – От британцев остались красивые здания.

Недели, предшествовавшие нашей свадьбе, были самыми жаркими за все лето. Только отчаянные смельчаки решались выйти на улицу. Коровы, собаки и люди падали замертво на тротуарах. Тараканы справляли тризну. В один особенно жаркий день Дилип и моя будущая свекровь пришли к нам на обед. Я мысленно проклинала Пуну за то, что она будто нарочно решила произвести самое неблагоприятное впечатление. Я себя чувствовала виноватой во всем отвратительном и кошмарном, что происходит вокруг. В городе было не просто жарко, а убийственно жарко. Духота стояла такая, что воздух сделался практически непригодным для дыхания. Наверное, я стала чрезмерно чувствительной ко всем привычным дефектам и недочетам нашей повседневной жизни, глядя на них через призму склонностей и предпочтений Дилипа, у которого были свои жизненные стандарты, но лишь с приездом его матери я поняла, что он привык к здешнему существованию и сделался невосприимчивым к некоторым неудобствам. Я же переживала за каждую мелочь, за каждый изъян, хотя понимала, что некоторые изъяны лишь добавляют Пуне очарования. Но я совсем растерялась, не зная, что можно показывать, а что нельзя – и в своем доме, и в себе самой, – и как подобрать наиболее выигрышную маскировку для того, что действительно лучше бы не выставлять напоказ.

Дилип и его мама пили кокосовую воду и кислый нимбу пани, даже не подозревая о том, что всю предыдущую неделю я пыталась привести в божеский вид нашу с мамой квартиру: заново красила облупившиеся стены, снимала треснувшие зеркала и зашивала прорехи на обивке дивана и кресел.

Мама Дилипа питала пристрастие к одежде совершенно безумных цветов и, как мы поняли, к шляпам. При первой встрече моя мама прикрыла ладонью рот, чтобы спрятать улыбку, и мне самой было непросто не замечать всю абсурдность наряда моей будущей свекрови. Я уже поняла, что эта женщина не отличается тонким вкусом, и все же ее неприязненное отношение к Пуне меня задело.

После обеда мы сели на лоджии и принялись обсуждать приготовления к свадьбе. Дело близилось к вечеру, в это время соседи обычно толпились на своих балконах, напоминая

растрепанные коробки, составленные друг на друга. Люди размахивали руками, отгоняя голубей и ворон, и трогали пальцами белье, вывешенное сушиться на солнце.

Наши лица блестели от пота. Во дворе, тремя этажами ниже, виднелась женская голова с жидкими волосами на макушке и толстой, черной с проседью косой, закрученной кольцом на затылке. Мне было слышно, как скребет по земле ее метла, сделанная из стеблей тростника. Листья и пыль шелестели, вздымаясь и падая на те же места, где лежали раньше. В воздухе витал дым, доносивший запахи выхлопных газов и горящего мусора, но мы не ушли внутрь. Звуки микрорайона казались тишайшими по сравнению с гудящими поездами, громыхавшими по близлежащей железнодорожной линии.

Я смотрела в мутное небо и пыталась почувствовать радость: я много лет прожила в этом доме, и теперь у меня наконец появилась возможность отсюда сбежать. Я посмотрела на Дилипа. Высокий, статный красавец. Сразу видно, что человек рос за границей. Бейсбольные кепки, хорошие манеры и замечательные результаты многолетнего потребления американской молочной продукции. Он меня спасал, хотя сам об этом не знал. Моя мама что-то сказала, он улыбнулся в ответ, показав все свои тридцать два зуба, безукоризненно ровные после дисциплинарного воздействия подростковых брекетов.

Позже, над миской сладкого рабри, свекровь обратилась к моей маме.

– Тара-джи, – сказала она, – пандит хотел обсудить свадебную церемонию. Он спрашивал, есть ли у вас близкие родственники, лучше семейная пара, которые будут сидеть в мандипе и отдадут невесту семье жениха.

– Нет, – ответила мама. – Я сама отдам дочь жениху.

Мама Дилипа открыла рот, снова закрыла, задумчиво пожевала губами, сделала несколько глубоких вдохов. Это было похоже на нервный тик, словно слова, которые она готовилась произнести, нуждались в искусственной поддержке дыхания.

– По традиции, если мать невесты – вдова, эту часть церемонии берет на себя кто-то из родственников.

– Но я не вдова, – сказала мама.

Мама Дилипа положила ложку на стол. Снова ***открыла и закрыла рот. Потом тяжело задышала, буквально выталкивая из себя воздух, словно пытаясь задуть огонь. Мы все смотрели на Дилипа, который накладывал себе добавку рабри, оставляя белый молочный след на столе.

– Так было проще, – сказал мне позже Дилип, когда мы остались одни. – Индусы в Америке очень консервативны. Я не хотел говорить маме, что твои родители разведены.

Помню, как, возвращаясь из школы домой, я наблюдала за стаями бродячих собак с балкона маминой квартиры. Эти собаки, с искалеченными лапами и рванными ушами, почти все время лежали на одном месте и поднимались только затем, чтобы увернуться от проезжающих мимо машин или взгромоздиться на своих матерей и сестер. С маминого балкона я, девочка-школьница в синей форме, во второй раз в жизни наблюдала за сексом, хотя издали было не очень понятно, то ли собаки действительно совокупляются, то ли дерутся. Обычно драки случались тогда, когда на территорию стаи забредали чужие псы-парии. Пронзительный рык чужака или хруст ветки под лапой становился сигналом к побоищу, и по ночам, когда мне полагалось давным-давно спать под плотной москитной сеткой, я слушала их боевые кличи. Помню, однажды по дороге в школу я увидела у калитки щенка, его брюшко дрожало от копошащихся внутри глистов, на мордочке кишмя кишели блохи. На месте хвоста зияла кровавая дыра.

Выйдя замуж за Дилипа, я получила в довесок его семью, его мебель и новый набор бродячих собак. Собаки, живущие в его квартале, гораздо спокойнее. Стараниями местных домохозяек здешние псы все поголовно раскормлены и стерилизованы. Вывалив наружу слюнявые

языки, они нюхают воздух. Время от времени покусывают друг друга за причинные места и выпрашивают у прохожих еду.

Я переехала к Дилипу в июне, перед самым сезоном дождей. Дожди пришли поздно. Плохой знак. Предвестие плохого года. В газетах писали, что фермеры обвиняют жрецов, не могущих договориться с богами, а жрецы винят фермеров за отсутствие должного благочестия. В городе в роли капризных богов выступают глобальные климатические изменения. Река, текущая неподалеку, то разливается, то мелеет, а в сезон дождей превращается в ревущий поток мутной бурой воды.

В постели Дилип утыкается носом мне в пах и жадно вдыхает.

– Ты ничем не пахнешь, – шепчет он. Он гордится этим моим качеством, говорит, что оно необычное и очень редкое, и, возможно, это одна из причин, по которым ему захотелось на мне жениться. Сейчас его жизнь переполнена интенсивными запахами – на работе, на улице, даже в лифте, – и он с облегчением приходит домой к жене, не имеющей запаха. Дилип вырос в Милуоки, его уши привыкли к тишине городского предместья и мягким ватным палочкам. Он говорит, что Пуна очень громкая и пахучая, но его органы чувств смогут справиться с этим натиском, пока наш дом остается нейтральной зоной. Он говорит всем знакомым, что с моим переездом в его квартиру ему не пришлось ничего менять: моя жизнь слилась с его жизнью совершенно естественно и органично.

Зная о его страхе перед резкими переменами, я меняла все постепенно, почти незаметно. Первым делом избавилась от всех полотенец и всего постельного белья, к которому могли прикасаться другие женщины. Потом потихонечку вынесла на помойку все предметы одежды и книги, которые могли быть подарками от других женщин. Книги – в основном сборники любовной поэзии – было легко опознать по дарственным надписям на первой странице. Мне не хотелось, чтобы в нашем доме остались воспоминания о других женщинах моего мужа. Медленно, но верно я избавлялась от всех следов их присутствия в его жизни: старые фотографии, письма, сувенирные кружки, ручки, взятые из гостиничных номеров, футболки с названиями городов, куда они ездили вместе, магниты в виде памятников архитектуры, листья, засушенные между страницами книг, привезенные с пляжного отдыха ракушки в стеклянных банках. Может быть, это были чересчур радикальные меры, но мне хотелось, чтобы наш с мужем дом был только нашим.

Мама запекает на плите большой баклажан, и мы наблюдаем, как пламя опалает его темную кожуру. Светлая мякоть сочится паром. Мама выгребает семена рукой и бросает их в мусорное ведро. Удивительно, как она не обжигает пальцы. На белой пластмассовой разделочной доске она режет острый перец и молодой зеленый лук. Доска испачкана куркумой, на стеблях лука остались кусочки земли, но мама говорит, чтобы я не придиралась к таким мелочам. Она жарит в масле семена тмина, высыпает их на дымящийся баклажан, добавляет свежие листья кинзы, порвав их руками на мелкие кусочки. Горячее масло брызжет на плиту. Я кашляю, перемешивая в миске специи. Моя домработница, Айла, поправляет сари и вздыхает. Она начинает уборку на кухне, а мы с мамой относим готовые блюда в гостиную, где ждет обеда Дилип.

Мама нечасто бывает у нас в гостях. Говорит, что ей неуютно в нашей гостиной, где все стены зеркальные и отражения расходятся в разные стороны. Для Дилипа эти зеркальные стены решили дело, когда он подыскивал себе квартиру. Они означали, что он достиг того уровня, когда можно позволить себе капризы, и озаменовали собой кульминацию его фантазий, связанных с зеркалами и порнофильмами. Для моей мамы зеркальная комната представляется

слишком живой: каждое тело и каждый предмет воспроизводятся в четырех отражениях, и отражение каждого отражения умножается до бесконечности. Мама садится за стол, ее ступни нервно подергиваются, прячутся друг за друга, как мыши, спасающиеся от полуденной жары. Я сама привыкла к зеркалам и начала полагаться на них, когда мы с Дилипом ссоримся, потому что смотреть на орудия отражения – все равно что смотреть телевизор.

– Как у вас самочувствие, мама? – спрашивает Дилип.

Он называет мою маму мамой, как и свою. Поначалу меня это напрягало, но Дилипу так проще: называть двух женщин мамой и два места – домом.

Общаясь с Дилипом, мама старается говорить по-английски с американским акцентом. Она думает, что иначе он ее не поймет, и, если он пробует говорить на хинди, она все равно отвечает ему по-английски. Мама старается копировать его протяжные среднезападные гласные и долгие паузы, предполагающие, что весь мир подождет, пока он соизволит закончить фразу.

– Скажу честно, после первого визита к врачу я начала бояться худшего. Даже строила планы, как покончить с собой. Спроси у нее, она подтвердит. Извини, милый. Не хочу портить тебе обед. Сначала поешь, а потом побеседуем. Как тебе амти? Надеюсь, не слишком остро? Так вот, отвечая на твой вопрос... Сначала я испугалась, но теперь успокоилась. По-моему, я ничем не больна. Я хорошо себя чувствую.

Дилип кивает и смотрит в зеркало прямо перед собой.

– Очень рад это слышать.

– Мама, врач говорит, что ты все забываешь.

– УЗИ не показало никаких отклонений.

– УЗИ может не показать никаких отклонений, даже если...

– Почему ты так настойчиво утверждаешь, что я больна? – Мама держит в руке кусочек сырого лука. Пока она говорит, лук падает обратно на тарелку.

– Ты действительно все забываешь. Забываешь, как делаются элементарные вещи. Как звонить по мобильному телефону, как платить за электричество...

– Да я никогда и не знала, как платить за электричество. Все мозги завернутся, пока разберешься с этим интернет-банком.

Я кладу руки на стол. Врачу она этого не говорила.

– И ты просила меня позвонить Кали Мате. Позвонить человеку, который умер десять лет назад.

– Семь лет, – говорит мама и обращается к Дилипу: – Видишь, как она врет?

Дилип смотрит то на меня, то на маму. Когда он хмурится, у него на виске проступает шрам от старой травмы, полученной в лакроссном матче.

– Я не вру.

– Врешь. Вечно врешь. Ты у нас профессиональная лгунья.

После обеда мы отвозим маму домой, и на обратном пути Дилип что-то тихонечко напевает себе под нос. Я не могу разобрать мелодию и поэтому решаю его прервать:

– Вот зачем она так говорит?

Он секунду молчит, а потом отвечает:

– Может быть, она не верит в свою болезнь.

– Ей придется поверить.

– Ты не врач.

Мне обидно, что он ни капельки не доверяет моим суждениям.

– Я и не говорю, что я врач. А врач как раз говорит, что она больна.

– Он вроде бы говорил, что у нее мозг молодой женщины, или я что-то путаю?

– Но она все забывает. Важные вещи.

– Важные для кого? Может быть, она хочет забыть. Может быть, ей не хочется помнить, что ее подруга мертва.

– Как бы там ни было, она все забывает.

Мой пронзительный голос режет слух даже мне.

– Деменция и сознательное желание забыть – это разные вещи, Антара.

– Это уже полный бред. Почему бы ей вдруг захотелось забыть меня?

Дилип делает глубокий вдох и качает головой:

– Ты художник, ты должна быть открыта для самых разных возможностей.

– Она назвала меня лгуньей.

– Разве твое искусство как раз не об этом? О том, что нельзя доверять никому?

Он сидит с кислым лицом. Явно разочарованный. Я пытаюсь скопировать его выражение, но чувствую, что ничего не выходит. Поэтому я грызу ноготь на среднем пальце. Вернее, кутикулу вокруг ногтя. Дилип берет мою руку и опускает ее вниз.

Мое искусство – не погружение в ложь. Это сбор данных, накопление информации, выявление несоответствий. Мое искусство – поиск той точки, где перестают действовать закономерности.

До замужества у меня была студия в доме у бабушки. Она выделила мне комнату, очень уютную, с идеальной пропорцией света и тени. В детстве мой интерес к коллекционированию всего начался именно здесь, в этом доме, среди вещей, оставшихся после умерших обитателей бунгало, где жили дедушка с бабушкой. Лампочки, батарейки, шнуры, ручки, марки, монеты. Я начала с поисков информации – когда были придуманы эти вещи, кто их изобрел, – часами сидела в библиотеке, обложившись энциклопедиями энергетики и патентов, но мои изыскания всегда уводили меня далеко от той точки, где я начинала. Чтобы не отвлекаться на лишние детали, я принялась рисовать эти предметы сама, изображая их так, как они виделись мне. Стараясь копировать как можно ближе к оригиналу. Может быть, у меня плохой почерк, чересчур механический, без красивостей, но зато у меня твердая, точная рука. Я начала собирать мертвых насекомых, которых на удивление трудно найти целыми, без повреждений. Среди самых ценных моих экземпляров есть несколько мотыльков, схваченных в застывшем воске. Я храню их в стеклянной банке.

Музеи собирают в запасниках знаковые объекты: первый сотовый телефон, первый компьютер, – предположительно для того, чтобы когда-нибудь в будущем выставить их в экспозиции (при условии, что в будущем останется место для музеев). Я выросла в эру стационарных телефонов и механических наручных часов, и у меня есть собственная коллекция реликтов ушедших времен: стеклянные бутылки с этикетками лимонадов, давно снятых с производства, антикварные скребки для чистки языка и целая стопка альбомов для сбора автографов – ребенком я подходила на улицах к незнакомцам и просила их что-нибудь написать у меня в альбоме.

Дилип говорит, что, если все вулканы Земли извергнутся одновременно, планета покроется слоем пепла толщиной в несколько миль и наша квартира станет единственным местом, которое обнаружат археологи будущего, они наверняка удивятся странным пристрастиям своих далеких предков. Я отвечаю, что именно американцы изобрели накопительство и превратили его в искусство.

Дилип однажды сказал, что в Америке никто не пользуется скребками для языка. В Америке белый налет с языка счищают зубной щеткой. Дилип говорит, что мне надо попробовать этот метод. Говорит, что одно multifunctional приспособление лучше, чем два узкоспециализированных. Мне не нравится такой подход, я опасаясь перекрестного заражения. Дилип пожимает плечами. Рот – одна полость, одна комната, один город. Все, что происходит с одной стороны, произойдет и с другой. Я говорю, что в таком случае он не должен обидеться, если я вылью ему на брюки воду из своего стакана.

Когда я переехала к Дилипу, он сказал, что я могу устроить студию в гостевой комнате. Все равно у него редко бывают гости.

– К тому же мне нравится мысль, что ты целый день будешь дома, – добавил он.

Комната очень просторная, солнечная. Не совсем подходящее место для сотворения таинств искусства. В посудном шкафу расположилась моя кунсткамера, коллекция диловин. Все разложено по картонным коробкам или стерильным пластиковым контейнерам, дверцы всегда запираются на ключ. Фотографии и рисунки разложены по папкам, распределенные по темам, датам и категориям. В комнате также имеются большой деревянный стол и офисное кресло, которое Дилип принес с работы. На стене висит календарь, где я вычеркиваю дни, отмечая проделанную работу.

Уже три года я занимаюсь одним проектом и совершенно не представляю, надолго ли меня хватит. Все началось случайно. Я срисовала мужское лицо с фотографии, которую когда-то нашла. Но на следующий день, когда мне захотелось сравнить сделанный мною портрет с оригиналом, фотография куда-то запропастилась. Я искала ее весь день, но безрезультатно. К вечеру я сдалась. Взяла чистый лист – я пользуюсь только бумагой определенной марки, ничего выдающегося, «сделано в Китае», но она хорошо держит графит, – и срисовала лицо со своего вчерашнего рисунка, стараясь скопировать его один в один, вплоть до наклона штриховки и толщины линий. Это стало моей ежедневной работой, почти ритуалом. Я беру за образец рисунок, сделанный накануне, тщательно его копирую, ставлю дату, убираю оба рисунка в соответствующую папку и вычеркиваю еще один день на календаре. Бывают дни, когда я управляюсь за час. Бывают дни, когда я сижу в студии с утра до вечера.

Через год после начала проекта мне устроили персональную выставку в крошечной галерее в Бомбее. Владелица галереи, моя подруга, сравнила динамику времени в моих работах с концептуальными сериями Она Кавары и сказала, что это дневник художника и именно так она и назовет мою выставку. Сравнение с Оном Каварой показалось мне в корне ошибочным. Его работы строятся на чистой механике, не подразумевающей участия человека. Мои работы являют собой образец несовершенства, заложенного в самой человеческой природе. Он Кавара ведет скрупулезный подсчет, я сбиваюсь со счета. Владелица галереи не собиралась вступать в обсуждение. Она заявила, что корректор уже вычитал текст для каталога и что в нынешней обстановке усложнение вопроса явно не будет способствовать продаже моих рисунков. Еще до открытия выставки один серьезный коллекционер проявил интерес к моей серии. Сказал, что подобная медленная, кропотливая работа в наше время имеет огромную важность.

Серия не продалась.

Я считаю, что виновато название. Дневник. Что значит «дневник»? Само слово отдает чем-то школьным, до нелепого детским. Кому захочется тратить деньги на какой-то дневник? Мне это виделось по-другому. В ходе работы я думала только о неспособности человеческих глаз и рук сохранять объективность. Но, наверное, так всегда и бывает. Намерение и восприятие почти никогда не совпадают.

Я очень тщательно подбирала наряд для открытия, пытаясь создать соблазнительный образ, не оголив лишнего, и чувствовала себя совершенно неподготовленной, хотя понимала, что это был самый важный день в моей жизни. Я никому не говорила о выставке, но мама как-то узнала. Она приехала на открытие, обошла все залы, подолгу стояла перед каждым из 365 лиц. Первый и последний рисунки встречались друг с другом на входе в галерею, висели по обеим сторонам двери, создавая диалог различий. Это могли быть портреты двух разных людей, изображения двух разных лиц, сделанные руками двух разных художников. Мой проект по созданию идеальных копий с треском провалился, собственно, он и должен был провалиться, но именно потому, что он не удался, местная арт-тусовка расценила его как огромный успех. В нескольких бомбейских газетах напечатали отзывы критиков, называвших мои

работы маниакальными и волнующими, тревожными и одновременно чарующими. Почти все рецензенты задавались вопросом, как долго я буду вести этот проект.

Мама назвала мои рисунки игрой в «Испорченный телефон».

Через неделю, когда я вернулась домой, мама расплакалась и набросилась на меня со скалкой. Она кричала сквозь слезы, что я предательница и лгуныя. Она требовала ответа, зачем я устроила эту выставку.

Держа в руке скалку, отобранную у мамы, я присела на краешек обеденного стола, пытаюсь перевести дух. «А в чем проблема? – спросила я. – Почему мне нельзя рисовать то, что хочется?»

В тот же день мама велела мне собирать вещи и выметаться из ее дома. Мы с ней больше не виделись до того дня, когда я пришла к ней с Дилипом и сообщила, что выхожу замуж.

Я решила, что надо увидеться с папой и рассказать ему о мамином диагнозе. Он живет в Онде, на другом конце Пуны. Его дом стоит в окружении деревьев, где скачут настырные бурундуки. От грохота непрерывных авиационных учений дрожат стекла в окнах. Высоченные напольные часы в гостиной ежечасно выплевывают кукушку и выдают детский стишок на немецком.

Папины брови похожи на вышивку толстыми черными нитками.

– Вчера я звонил пять-шесть раз. Ты не брала трубку.

Я молча киваю. Я привыкла к подобным упрекам, и «пять-шесть раз» означает любое количество. Я не особенно вслушиваюсь в то, что он говорит. Его присутствие в моей жизни ограничено редкими, краткими встречами, его образ давно задвинут в самый дальний чулан на задворках моего сознания.

Напрямую вопросы не задаются. Я отвечаю на укоризненный тон его голоса:

– Я возила маму к врачу.

Диваны в гостиной расставлены, как сиденья в зале ожидания на вокзале. Мы с папой сидим напротив друг друга. Он стиснул руки и ждет, что я скажу дальше. Я молча протягиваю ему конверт с результатами медосмотра и заключением врача. Он открывает конверт – слишком медленно, слишком долго, – случайно надрывает уголок клеевого клапана, охает, словно порезавшись, и смотрит на разорванный клапан с выражением искренней боли. Он просматривает бумаги, держа их на вытянутых руках, читает, беззвучно шевеля губами.

– Все это очень печально, – говорит он, закончив читать. – Дай мне знать, если я могу чем-то помочь или если вдруг надо будет кому-нибудь позвонить.

Он бросает бумаги на журнальный столик и спрашивает, не хочу ли я еще чаю. Я качаю головой и ломаю ложкой карамельного цвета пленку, уже затянувшую чай в моей чашке.

– Очень жаль, – говорит папа. – Я бы хотел как-то помочь, так сказать, проявить сопричастность. Но не я все это затеял, еще тогда.

Это обычный подход, неизменно сопровождающий его упреки: в начале каждого нашего разговора папа сразу снимает с себя всю ответственность за какой бы то ни было выбор в прошлых, нынешних или будущих ситуациях. Он заранее уходит от всех обвинений, которые я могла бы ему предъявить. Он не понимает, что я прихожу к нему вовсе не для того, чтобы предъявлять обвинения. Не потому, что он не виноват, а потому, что знаю: даже когда я вхожу в его дом, некая метафорическая дверь все равно остается закрытой и никогда не откроется передо мной.

Мне любопытно а сам-то он верит в отсутствие выбора? Было ли в его жизни хотя бы одно решение, за которое он принимает ответственность? Этот односторонний подход всегда

был для меня и болезненным, и интересным: сама специфика голоса, которым отец говорит со мной. Мне любопытно, какой голос звучит у него в голове.

В комнату входит папина новая жена, и он умолкает. Она обнимает меня и легонько похлопывает по спине. Их сын тоже присоединяется к нам, садится напротив меня.

Руки новой жены повисают, как плети. Сын уже не младенец, каким представляется мне до сих пор, а подросток в том возрасте, когда трудно определить, сколько именно ему лет. Мы с ним совсем не похожи, разве что оба смуглые. А вот папа с новой женой, наоборот, очень похожи: оба худые и мягко-воздушные, как свитера тонкой вязки. Я улыбаюсь трем взаимозаменяемым лицам.

Я расспрашиваю брата о колледже и, пока он отвечает, замечаю, что у него на подбородке уже пробивается первая борода. Я нечасто вспоминаю о брате, в основном мои мысли сосредоточены на отце. И его новой жене. За толстыми стеклами ее очков почти не видно глаз.

Когда я ухожу, папа вновь сокрушается из-за маминой печальной проблемы и говорит, что нам надо видеться чаще. Он так говорит каждый раз, когда мы прощаемся на пороге, но до следующей встречи неизменно проходит полгода.

По дороге домой я заезжаю на Боут-Клуб-роуд. Дверной звонок заливается птичьей трелью, я слышу, как тапочки бабушкиной домработницы, старой Чанды, скрипят в коридоре, словно резиновые утята. Она открывает мне дверь, улыбается трясущимися губами, прикасается к моей щеке и говорит:

– У тебя очень усталый вид.

Я иду в ванную и умываюсь над маленькой раковиной. Она висит под наклоном, прикрепленная к ответвлению водопроводной трубы – крошечный фаянсовый довесок. Брызги летят мне на ноги, на пол. Плитка с цветочным узором на стене за трубой давно потускнела, покрывшись склизким мыльным налетом. Серая вода медленно утекает в слив.

Бабушка сидит по-турецки на чарпае, разложив перед собой три сотовых телефона. Видит меня, поднимает руку в приветствии. Мы очень похожи, все трое: бабушка, мама и я, – не считая отличий, созданных временем. Другие различия незначительны. У бабушки грузноватые лодыжки, волосы зализаны так, что кажутся приклеенными к голове, пробор в волосах блестит, точно масляный ручеек. У мамы белая кожа, вросшие волоски у нее на ногах напоминают черные зерна горчицы. Я очень смуглая, с кудрявыми волосами, которые распрямляются, только когда они мокрые.

Когда я сажусь, бабушка жалуется, что всю улицу раскопали, чтобы провести новую электрическую линию. Она говорит, что это очередная афера городских властей. Коррупция как она есть. Я уточняю, в чем именно, по ее мнению, выражается эта коррупция. Бабушка качает головой и отводит взгляд.

– Я росла, дыша воздухом гандизма, – говорит она. – Не могу даже вообразить, что творится в головах у этих бандитов. – У нее странноватый английский, выученный не по книгам, а по телепередачам.

Она смотрит в окно, и я тоже смотрю. Улица сплошь состоит из двухэтажных бунгало и цветущих огненных деревьев, делониксов королевских. Яркий солнечный свет льется в окно, обесцвечивая голубую напольную плитку.

Этот дом они с дедом купили двадцать лет назад у старой и одинокой парсы с руками, похожими на залежалый зефир. Она не хотела продавать дом индусам, но других покупателей не нашлось. Бабушка с дедушкой привезли с собой всю свою старую мебель: стулья из палисандрового дерева и громадные посудные шкафы, неприступные, как гробницы (бабушка до сих пор носит на поясе связку ключей).

Дедушке с бабушкой очень хотелось скорее переехать; в их прежнем доме поселилось слишком много призраков дедушкиных измен и бабушкиных мертворожденных детей и элек-

тричество отключалось почти ежедневно. По иронии судьбы, они переехали в дом, населенный призраками мертвых предков его предыдущей владелицы. Моя мама сказала, что они поменяли свои неприятные воспоминания на чужие.

В день, когда они въехали в этот дом, я наблюдала, как грузчики – около дюжины человек из компании «Темпо Трэвел» – сворачивают кружевные скатерти в плотные рулоны и укладывают их в коробку. Распахнутые дверцы шкафов выставляли напоказ все земное имущество нескольких поколений былых жильцов: старые лампочки, давно непригодные для использования, потемневшие серебряные украшения, фарфоровые чайные сервизы в «родных» коробках. Стекланные люстры тонули в тумане, сотканном из паутины. Грузчики таскали обитые ситцем кушетки с продавленными подушками, напоминавшими мою серую майку, которую я носила под школьной формой. Распространяя густой запах пота, грузчики оборачивали мебель старыми одеялами, а позабытая всеми хозяйка-парса сидела у окна в инвалидной коляске и дожидалась свою сиделку.

Это было давным-давно, но в доме до сих пор ощущается что-то чужое, отдающее запахом незнакомого пота и слежавшейся пыли.

Я говорю, собравшись с духом:

– Нам надо поговорить. О моей маме.

Бабушка хмурится:

– А что с твоей мамой?

– Мы были у врача. У нее что-то не то с головой. Она все забывает.

– Это все потому, что она не замужем. Одинокие женщины всегда все забывают. – Секунду подумав, она добавляет: – К тому же это, наверное, наследственное. Ее отец был забывчивым.

Я пожимаю плечами, не соглашаясь, хотя помню, как дедушка по рассеянности предлагал бабушке газету, совершенно забыв, что она не умеет читать. Так бывало не раз и не два, и она всегда думала, что он над ней издевается, сердито отталкивала его руку и убегала из комнаты.

– Это не просто забывчивость, – говорю я. – Недавно был случай... Она меня не узнала. Забыла, кто я такая.

Бабушка кивает, я киваю в ответ. Эти кивки как бы подразумевают, что мы что-то поняли для себя, хотя я не знаю, что именно. Недопонимание рождается из-за ошибочной расстановки акцентов. Я уже и сама сомневаюсь, говорю ли всю правду или придаю смысл чему-то, чего даже не существует. Может быть, я представляю мамино заболевание гораздо серьезнее, чем оно есть? Хотя, наверное, это неплохо. Возможно, нам всем надо быть бдительней и осторожней.

Я размышляю, стоит ли пересказывать бабушке все, что говорил врач, стоит ли рисовать облако с амилоидной бляшкой.

Бабушка сидит, подперев щеку рукой.

– Твоя мама так растолстела! Ты видела ее пальцы? Распухли чуть ли не вдвое. Как мы будем снимать с нее кольца, когда она умрет?

Мы просыпаемся каждое утро и заново обнаруживаем себя в собственном теле.

Я прочла это в журнале, пока мама закрашивала седину в парикмахерской. Теперь я стараюсь бывать у мамы почаще и, когда есть возможность, сопровождаю ее повсюду. Я перепроверяю все приходящие ей счета и слежу, чтобы она не забывала пристегиваться в машине. Иногда, когда рядом есть люди, она кричит, что я ее мучаю и что ей хочется, чтобы я оставила ее в покое.

Там в журнале написано, что крепкий ночной сон способствует примирению супругов, поссорившихся накануне. Значит ли это, что семейное счастье недоступно для тех, кто страдает бессонницей и другими расстройствами сна?

Утром я сладко потягиваюсь в постели и чувствую, как мои руки и ноги тянут меня в разные стороны. Туловище становится перешейком промежуточного пространства между отяжелевшими конечностями. Дыра в области живота гложет меня изнутри. Я всегда просыпаюсь голодной, и кажется, что все лицо превращается в один сплошной рот, сухой, теплый и темный, как яма с песком. Дилип лежит рядом, простыня под ним влажная и холодная. Он страдает ночной потливостью, но поутру не помнит, что ему снилось.

Я стираю белье каждый день, сразу, как только Дилип уходит на работу, и сушу простыни на свежем воздухе, во внешнем коридоре у нас на этаже. Соседи этого не одобряют, они не раз говорили Айле, что им не нравится разглядывать наше постельное белье в ожидании лифта. У них на двери висит табличка, сине-белая плитка с надписью: «Губернатор». У них такая фамилия. Они оба пенсионеры, она – бывшая школьная учительница, он – отставной офицер военно-морского флота. Когда миссис Губернатор уезжает навестить сестру в Бомбее, мистер Губернатор часами сидит у себя на балконе, курит одну сигарету за другой и плачет.

– Он, наверное, сильно по ней скучает, – говорит Дилип.

– Может быть, она ездит в Бомбей не к сестре. Может быть, он это знает.

Дилип удивленно глядит на меня, словно подобная мысль никогда не пришла бы ему в голову, и его взгляд становится напряженным, будто он подозревает в измене и меня. А ведь было время, когда эта догадка могла бы его позабавить.

Я говорю:

– По-моему, ты не самый отзывчивый человек. И не самый чуткий.

В том журнале, попавшемся мне в парикмахерской, было написано, что эти качества необходимы для поддержания гармоничных, устойчивых отношений. Пока я говорю, Дилип сосредоточенно смотрит куда-то вдаль. Смотрит куда угодно, только не на меня. Словно так ему будет проще меня понять.

– Я вообще ничего не сказал, – отвечает он.

Вечером мы идем в тренажерный зал в нашем доме. Дилип надел свою майку из полиэстера, которую надо стирать дважды после каждой тренировки. Он выполняет упражнения с гантелями в метре от зеркала, резко выдыхая при каждом счете. Меня смущает его шумное дыхание. Есть в этом что-то не очень приличное. Все равно что рыгать или пускать ветры на публике. Мне, например, было бы неприятно, если бы кто-то услышал, как я храплю.

Я занимаюсь на лестничном тренажере, настроив наушники на музыкальный канал в телевизоре, подвешенном под потолком. Рабочий день закончен, в зале полно народу, иной раз приходится ждать, когда освободится тот или иной тренажер. Раньше у меня не было необходимости в тренировках, но после тридцати мое тело стало напоминать перезревшую грушу.

Дилип говорит, что занятия в зале уже дают результат, но я не вижу этого результата и говорю мужу, что мне не нравится заниматься в одно время с ним.

Он не понимает, почему я обижаюсь, почему так болезненно реагирую на его комплименты и почему я не верю его словам. Иногда у меня возникает желание заглянуть ему в голову, посмотреть на дорожки, по которым движутся его мысли, такие прямолинейные и упорядоченные. Его мир замкнут и ограничен. Все, что я говорю, он понимает буквально: у каждого слова есть свое недвусмысленное значение, для каждого значения есть свое слово. Но мне представляются и другие возможные смыслы, временами меня тяготит бремя речи. Если провести линии от точки X ко всем другим точкам, так или иначе связанным с первой, я окажусь в центре запутанной паутины, из которой мне точно не выбраться. Любое высказывание открывает широкий простор для неправильных толкований.

Дилип убежден, что в одной мысли, как в зеркале, отражается весь пейзаж разума. Он говорит, что, наверное, трудно быть мной.

– У твоей мамы явно что-то поехало в голове. – Бабушка стучит себя пальцем по виску. Она сидит по-турецки на чарпае, наблюдает, как я перебираю старые фотографии, и периодически переключает мелодии звонков на своих сотовых телефонах.

Я рассматриваю фотографии мамы, где она совсем юная девчонка с длинными, непослушными волосами. Каждый раз после мытья головы она тратила не один час, чтобы выпрямить свои кудряшки: нагревала утюг и разглаживала каждую прядку, положив сверху газетный лист. Я знаю по слухам, что уже с четырнадцати или пятнадцати лет она постоянно прогуливала уроки, целыми днями просиживала в придорожном ресторане на старом шоссе между Бомбеем и Пуной. Она заказывала себе пиво в больших бутылках и пила прямо из горлышка. Вынимала из школьной сумки пачку «голд флейк» и курила одну сигарету за другой. В ресторане всегда былолюдно. Путешественники, проезжавшие мимо на мотороллерах или такси, заходили туда пообедать или просто воспользоваться туалетом – особенно иностранцы, едущие в ашрам с крошечным багажом и почти без денег. Мама с ними знакомилась, заводила беседу, иногда кто-то из них подвозил ее обратно в город. Бабушка убеждена, что именно в этот отвязный период без попечения и присмотра мама заинтересовалась ашрамом, но мне кажется, что ее тяга к саморазрушению была просто очередным симптомом некоей болезни, заложенной в ней изначально.

Примерно тогда же она начала одеваться в белое. Исключительно в белое, постоянно, как одеваются обитатели ашрама. Всегда только хлопок. Тонкий, почти прозрачный, хотя по старым выцветшим фотографиям трудно понять фактуру ткани.

– Вот странно, она так упорно одевалась в белое, хотя никто из ее знакомых не умер, – говорит бабушка. – Другие девчонки носили мини-юбки и брюки клеш. Но только не Тара. Она одевалась, как старомодная тетушка. Правда, она никогда не носила дупатту.

В пачке есть фотографии бабушки в день ее свадьбы. На них она выглядит очень юной, таким большеглазым ребенком с испуганным взглядом, вряд ли старше пятнадцати лет. Она в красном сари (все фотографии черно-белые, но, по идее, сари должно быть красным) с одной-единственной тоненькой линией вышивки. В наши дни такой скромный наряд посчитает зазорным надеть даже гостя на свадьбе, не то что невеста. Колечко у нее в ноздре бликует от фотовспышки. Ее отец стоит у нее за спиной, его огромный живот распирает рубаху. Вокруг собралась вся остальная бабушкина родня, ее сестры и братья, племянницы и племянники: смутно знакомые лица людей, которых я знаю.

Я говорю:

– Зачем вообще нужна дупатта?

Я всегда думала, что дупатта – совершенно бесполезный предмет одежды, ни верх, ни низ. Несуразный кусок ткани, закрывающий то, что и так уже закрыто.

– Дупатта – это женская честь, – говорит бабушка, поджав губы. Она отбирает у меня фотографию, а я пытаюсь представить, что же это за честь, которую так легко позабыть в шкафу.

Есть и другие снимки, которые бабушка не хранит в общей пачке, а прячет подальше. На этих снимках маме около восемнадцати. Здесь ее волосы короче, послушнее. Голубые тени на веках, на губах – розовая помада. Шелковая блузка, украшенная изображением какой-то гибридной тропической птицы, заправлена в джинсы с высокой талией. Из-за толстых подплечников плечи приподняты чуть ли не до мочек ушей. Рот открыт, но я не пойму, то ли мама улыбается, то ли кричит.

Я не знала ее такой, но это та девушка, которой была моя мама, когда влюбилась в моего отца.

Это был золотой век, удивительный период, когда учтены и исправлены все ошибки прошлого, а будущее преисполнено самых радужных ожиданий. Так бабушка описывает то время, когда познакомились мои родители.

Свадебный стовор состоялся в тот день, когда папа и его мать были приглашены в гости к бабушке на послеполуденный чай, и им пришлось дожидаться маму, которая опоздала и примчалась вся взмыленная, запыхавшаяся, в мокрой от пота рубашке, сквозь которую просвечивали темные соски.

Папа был долговязым, костлявым парнем, все еще неуклюжим в своем новом, выросшем теле. Кожа над его верхней губой казалась присыпанной мелким черным порошком, брови клонились друг к другу и срастались на переносице. Даже его суставы тянулись навстречу друг другу, словно под действием магнитного притяжения – локоть к локтю, колено к колену, – тело как бы стремилось закрыться, замкнуться в себе. Его мать периодически шлепала его по спине, чтобы он не сутулился. Он все время молчал, глядя в пол, а она, моя мама, говорила много и громко и не прятала глаз.

Поначалу казалось, что мама вполне образумилась, что ее подростковое бунтарство сошло на нет и она привела свое мировоззрение в соответствие с тем, что ее собственные родители называли достойным будущим.

Она постриглась, накупила ярких цветастых нарядов и начала ходить в клуб. Заявила, что хочет продолжить учебу, и даже задумалась о поступлении в колледж на факультет гостиничного хозяйства или банкетного сервиса. Папа учился в университете и готовился получить диплом инженера.

Через год после свадьбы родилась я.

Через пять лет после моего рождения папа подал на развод. Мама при этом не присутствовала.

Вскоре после развода папа уехал в Америку с новой женой.

– И что ты намерена с ними делать? – интересуется бабушка, наблюдая, как я запихиваю фотографии в большой конверт.

– Покажу маме. Надо подстегивать ее память.

– Почему бы нам не проводить с ним больше времени? – спрашивает Дилип.

Он говорит о моем отце. Я смотрю в свой бокал.

Мы сидим в ресторане клуба, ждем наших друзей. Дилип пьет пиво, я – темный ром с диетической колой. Мы заказали досаи и сырные тосты с чили.

Дилип не понимал важности членства в клубе, пока не приехал работать в Индию. Раньше он приезжал ненадолго, что называется, с кратким визитом, в гости к друзьям или родственникам, и его повсюду возили в машинах с кондиционером. Но для многих из нас, выросших здесь, вся жизнь вращается вокруг клуба. Где еще ты найдешь столько зелени в центре города? Клубное здание – городской ориентир, известный каждому таксисту. Мой дедушка говорил, что железные дороги – не единственная достойная вещь, оставшаяся от британцев: есть еще клубы, куда мы приходили играть после школы, где наши родители и бабушки с дедушками «вращались в обществе», где мы учились плавать. У многих из нас именно здесь случился первый поцелуй, в зарослях диких бугенвиллей, что растут вдоль стены, окружающей клубную территорию. Сюда мы ходили на наши первые концерты и новогодние утренники.

Я много лет не бывала в клубе, предпочитая новые бары, кафе и рестораны, выросавшие, как грибы, по всему городу. На их фоне клуб представлялся мне слишком чопорным и старомодным. Этакий реликт прошлых времен. Но в последние годы меня потянуло обратно в клуб. Есть что-то надежное и утешительное в том, чтобы год за годом встречаться с одними и теми же людьми, видеть все те же знакомые лица, все те же разбитые ступеньки, все те же

трещины в стенах, которые не заделали за столько лет. Для меня это был островок постоянства в зыбком, непостоянном мире. Дилипу тоже понравилось в клубе.

Он шутит, что клубное членство досталось ему в приданое и уже только поэтому стоило на мне жениться.

На столах в ресторане стоят колокольчики, чтобы звать официантов. Спиртные напитки самые дешевые в городе. Вечером по четвергам на лужайке играют в лото. К услугам любителей азартных игр – карточный салон на восемь игорных столов.

– Можно встречаться с ним в клубе, – говорит Дилип. – Чтобы всем было удобно.

– Я боюсь.

Я упрощаю для краткости. Дилип способен понять только малую часть всех последствий, которые по сей день валятся, точно косточки домино: как в тот раз, когда по настоянию его мамы мы сказали гостям на свадьбе, что мой отец умер. Потому что объяснять правду было бы слишком сложно. К тому же Дилипу нравится все налаживать. Он убежден, что любая проблема решается. И он будет рыть землю, пока не отыщет решение.

– Не надо бояться, – говорит он.

Я понимаю, что он пытается меня поддержать, и ценю эту попытку. Я улыбаюсь, киваю его словам, и Дилип улыбается мне в ответ, уверенный, что он свое дело сделал. Ему невдомек, что я просто-напросто увожу разговор в сторону, стараюсь скорее сменить тему, пока не пришли наши друзья. Потому что за тридцать шесть лет я не знала покоя ни единого дня, и несколько добрых, сочувственных слов в этот тихий приятный вечер не излечат болезнь, появившуюся задолго до нашей встречи, – болезнь, от которой в принципе нет лекарства.

1981

Мой папа родился в семье высокопоставленного военного, менял школы почти каждый год и прибегал к подкупу одноклассников, чтобы заручиться их дружбой. Чаще всего в роли взятки выступал импортный алкоголь из отцовских запасов. Его отец, генерал-лейтенант, за свою долгую службу сменил не одно место жительства, но каждый из его домов неизменно был полон красивых заграничных вещей. Деревянные башмаки, трикотажные гобелены, дорогой хрусталь – такой ценный, что мать моего отца всегда наблюдала за тем, как домработница моет его. Она не любила заходить в кухню и однажды с гордостью сообщила моей бабушке, что за всю свою жизнь не приготовила ни единого блюда. Ее семья происходила из древнего рода каких-то марварских князей, о чем она обязательно сообщала при каждой удобной возможности. Она знала нужных людей, выдала замуж двух дочерей, подобрав каждой прекрасную партию, но ее подкосила смерть мужа, который скоропостижно скончался во время командировки в Дели.

На свадебных фотографиях мой папа – юный жених верхом на нарядно украшенной лошади. В седле перед ним сидит маленький мальчик, племянник, с испуганными глазами. Видимо, лошадь встревоженно дергалась при каждом гудении горнов, и он боялся упасть. Жених и мальчик одеты практически одинаково: шапки-сафы, кафтаны с высокими жесткими воротниками и вышитой золотой каймой. Музыканты, возглавляющие свадебную процессию, одеты в красно-зеленые шервани и вполне могут сойти за почетных гостей.

Мужчины, окружающие музыкантов со всех сторон, свистят и хлопают в ритме дхолаков. Женщины пляшут чуть позади, придерживают свои сари, машут руками, наблюдают за молодыми людьми, но не присоединяются к их компании. На одном снимке все участники шествия стоят перед входом в какое-то здание. Вероятно, банкетный зал, где моя мама-невеста и ее родня дожидаются жениха. Среди нарядных гостей затесались и просто прохожие в обычной одежде. Они улыбаются, тянут руки, им приятно присоединиться к этому красочному спектаклю. Проектор светит на жениха. Ослепительно-желтый луч, которым управляет помощ-

ник фотографа. Папа щурится от яркого света, пытается сморгнуть пот. На многих снимках у него закрыты глаза. На тех кадрах, где его глаза открыты, он смотрит на лошадь.

Есть фотографии и из банкетного зала. Среди баррикад из массивной мебели и многочисленной дальней родни основные участники действия готовятся к самому главному: к передаче приданого и невесты.

Женщины окружают невесту, жмутся друг к другу в страхе, понятном только им, женщинам. Мужчины скучают в сторонке.

Как она выглядела вживую, без ярких прожекторов, обесцветивших ее кожу? Как она восприняла незнакомые лица своей новой семьи? Жених, мой отец, кажется слишком растерянным, слишком юным, чтобы осознать свою роль в санкционированном похищении, в котором должен принять участие.

Уже к утру для нее все изменится, для этой девочки в свадебном сари. Новый муж, новая жизнь. Возможно, оставшись наедине с собой, она до сих пор плачет о прошлом, скорбит о конце, не увенчавшемся смертью.

Бабушка говорит, что ее беспокоило, как мама будет справляться в своем новом доме.

– Твоя мать была странной с самого детства. Никто не знал, чего она хочет от жизни. Как я понимаю, с тех пор мало что изменилось. Но и мать твоего отца тоже была очень странной. Две странные женщины под одной крышей? Сразу было понятно, что добром это не кончится.

Мама не раз рассказывала мне о странностях ее ранней семейной жизни. Ее свекровь каждый день ела маринованный кашмирский чеснок, не желая повторить судьбу мужа, умершего от остановки сердца. Весь дом пропитался характерным запахом переваренного чеснока.

И вот первый день в новом доме. Свекровь выдала маме кусок шершавого белого мыла и крошечное полотенце для рук вместо нормального банного полотенца. И стопку старых заносенных сари. Давным-давно их носила свекровь, а теперь предстояло носить моей маме. Она понюхала ткани, вдохнула запах нафталиновых шариков и многолетней пыли. Ее аж передернуло.

На второй день свекровь увидела, как мама потерянно бродит по дому, и позвала ее в гостиную, где гремело радио.

– Чем занимаешься? – спросила свекровь.

– Ничем, – ответила мама.

Это был честный ответ. Заняться было действительно нечем.

– Посиди со мной, послушай музыку.

Мама сидела в гостиной, пока ей не наскучили классические голоса. У нее были свои музыкальные предпочтения. Она слушала «Doors», Фредди Меркьюри. Но, когда она попыталась встать, свекровь удержала ее, схватив за руку:

– Не уходи. Составь мне компанию.

Эти ежедневные посиделки под гремящее радио могли затянуться на шесть часов кряду. Слуги подавали обед и чай прямо в гостиную. Мамина свекровь не выпускала из рук пинцет. Она выщипывала с подбородка жесткие волоски, находя их на ощупь. Без помощи зеркала. Мама не раз с ужасом наблюдала, как свекровь прищипывает кожу острым пинцетом. Весь ее подбородок был испещрен крошечными шрамами и бурыми струпами.

– Знаешь, что было бы мило? – однажды сказала свекровь. – Было бы очень мило, если бы ты встречала моего сына в прихожей, когда он возвращается с учебы. Я всегда ждала мужа у двери, когда мы только что поженились.

Она указала на большую фотографию в рамке, висевшую на стене. Брови мужчины на снимке хмуро сходились на переносице, сердитый взгляд был направлен куда-то в сторону. Портрет обрамляла гирлянда сухих цветов.

– Хочешь сделать приятное мужу? – спросила свекровь.

Мама смотрела на широкую щель под входной дверью, сквозь которую солнечный свет беспрепятственно проникал внутрь. Смотрела, не отрывая глаз. Ждала, когда эта полоска света переломится пополам. Когда ее перечеркнут две ноги. Тень приближающегося тела.

Мама уже тысячу раз пожалела, что не отказалась сразу. Не нашла способа уклониться от этой тоскливой обязанности. Они все с приветом, все в этой новой семье не в себе. Уж лучше бы она и дальше сидела в гостиной.

«Попробуй. Может быть, тебе понравится».

Что тут может понравиться? Что хорошего в том, чтобы стоять у двери, как собака?

Без пяти шесть она занимала свой пост в прихожей, стояла навытяжку, как часовой, переминалась с ноги на ногу – иногда десять минут, иногда полчаса, в зависимости от пробок на улицах и от того, сколько времени тратил муж на дорогу до дома.

Дверь гостиной была приоткрыта, и свекровь периодически выглядывала в коридор, чтобы убедиться, что мама честно стоит на месте. На пятый день даже свекровь поняла, что подолгу стоять у двери утомительно и, по сути, бессмысленно, и был придуман такой хитрый план: слуга дежурил у окна в кухне и кричал, когда видел, как молодой сахиб приближается к дому. В ту же секунду свекровь начинала взволнованно махать руками, выгоняя маму в прихожую.

Обычно все происходило так: без пяти шесть свекровь выключала радио – хотя ее сын, мамин муж, мой будущий отец редко когда добирался до дома раньше половины седьмого – и кричала слуге, чтобы он шел к окну. Маме нравились эти минуты тишины, но она не могла ни откинуться на спинку дивана, ни закрыть глаза – свекровь тут же стучала ее по плечу.

Однажды мама не выдержала и сказала:

– Я не хочу слушать музыку. Не хочу ждать в прихожей. Не хочу и не буду.

Свекровь ничего не сказала. Мама решительно встала и ушла к себе в комнату. Голос Кишора Кумара как будто навечно застыл в пространстве.

Комната была клеткой, но только там мама испытывала хоть какое-то подобие облегчения. Иногда она билась всем телом о стену и беззвучно кричала. Иногда просто ложилась на застеленную постель, закрывала глаза и уносилась в мечтах далеко-далеко, нервно постукивая рукой по рыжей тумбочке у кровати. Матрас был непривычно тонким и жестким. Покрывало из синтетической ткани грязно-серого цвета наводило тоску. Пол, выложенный огненно-красной мраморной плиткой, при определенном освещении казался пылающей бездной, куда запросто можно упасть. Перед зеркалом на трюмо стояла чашка, где мама держала расческу и щетку. Мама опрокидывала эту чашку, поднимала и опрокидывала опять, вслушиваясь в тихий стук. Она аккуратно снимала со щетки свои вычесанные волосы, скручивала в длинные нити и пропускала их между зубами. Иногда она туго наматывала на палец один волосок и наблюдала, как он врезается в кожу. Прискучившись этим занятием, мама снова ложилась, закинув ноги на спинку кровати, разглядывала свои тонкие лодыжки и погружалась в ленивые грезы о муже, гадая, что он сейчас делает, в эти самые мгновения. Она размышляла о муже, обо всех своих прошлых мужчинах, с которыми у нее что-то было, пусть даже вскользь и всего один раз, но они все оставили на ней отпечатки – с тем пылом, которого ей так отчаянно не хватало. Мама знала, что браки почти никогда не бывают счастливыми, но была слишком юной, чтобы смириться с мыслью, что отныне и впредь это будет ее единственная реальность. Она по-прежнему считала себя особенной, исключительной и неповторимой. По-прежнему верила, что другой такой нет и не будет.

Она наблюдала, как движутся стрелки на циферблате часов, ждала, когда закончится день, прислушивалась к голосам в коридоре, к шагам за плотно закрытой дверью.

Со временем мама набралась смелости заглянуть в папин шкаф. Там было много одежды, которую он никогда не носил. Одежды, которая наверняка уже стала ему мала. Разглядывая его вещи, мама мысленно составляла список всего, что можно отдать. Она трогала рукава каждой рубашки. Подолгу рассматривала стершиеся подошвы старых папиных туфель, те участки на его майках, где ткань истончилась. Ей нравилось изучать его вещи – неторопливо, в свое удовольствие, – как она никогда не решалась изучить его самого. Она терялась, когда он был рядом. Иногда ей казалось, что она даже не помнит, как выглядит ее муж.

Когда ее муж, мой отец, возвращался домой с учебы, он первым делом здоровался со своей матерью, потом наскоро мылся и усаживался за учебники. После ужина, когда его мать уходила в гостиную, он обычно шел следом за ней, садился рядом, клал голову ей на колени. Она прижимала ладонь к его лбу, гладила по волосам так настойчиво, словно пыталась задать направление их роста, но почему-то всегда не в ту сторону, куда они росли сами. Лежа головой на материнских коленях, мой отец наблюдал за моей мамой, своей женой. Его мать наблюдала за ними обоими. Так за несколько месяцев были четко очерчены все границы.

Бывали дни, когда муж и жена почти не разговаривали друг с другом. Мама считала, что он был странным, хмурым и замкнутым. Каким-то чужим и далеким. Его мать постоянно твердила, что он должен бросить все силы на то, чтобы добиться успехов в учебе, и он хотел ей угодить. Наградой за эти старания станет поездка в Америку, где среди холодных снегов он получит диплом магистра, будет каждый день есть гамбургеры и купит себе целую кучу «вареных» джинсов. Мама тоже прониклась этой мечтой, убедила себя, что ей это нужно. Было время, когда ей и вправду хотелось, чтобы муж ею гордился, чтобы он приводил ее в клуб и предьявлял обществу как свое лучшее украшение. Она обрезала длинные волосы, сделала модную стрижку и начала одеваться в цветастые шелка для выхода на воскресные обеды. Она мечтала и строила планы, представляла себе, как все будет в Америке: они только вдвоем, муж и жена, любящие друг друга, и тогда он непременно раскроется и проявит свою романтическую натуру, ту часть себя, что не заполнена математикой и сыновним почтением.

Мама узнала о своей беременности примерно тогда же, когда узнала, что свекровь собирается ехать в Америку вместе с ними.

– Мне придется поехать с вами, – объявила она, воздев пинцет к потолку. – Кто-то должен заботиться о хозяйстве, а одна ты не справишься.

Из-за неизбывной тоски и отчужденности от своей собственной семьи – бабушка не желала выслушивать никаких жалоб – мама чувствовала себя одинокой и всеми покинутой. Или, может быть, дело было во мне: во всплеске пренатальных гормонов и страхе перед совсем другой жизнью, что начнется с рождением ребенка. Как бы там ни было, мама начала потихонечку возвращаться к своему прежнему «я».

Она снова растила волосы. Перестала носить подплечники и пользоваться косметикой.

Она избавилась от всех старых заношенных сари, полученных от свекрови, и свалила пропажу на якобы нечистую на руку пожилую служанку.

Она украдкой покуривала, хотя знала, что это вредно для плода.

Она вспомнила о своих прежних хлопковых одеждах, убрала подальше в шкаф кружевные бюстгальтеры, которые накупила в порыве энтузиазма, и объявила, что хочет вступить в сатсанг и общаться с гуру.

Это было странное заявление от девушки, никогда не проявлявшей ни малейшего интереса к религии. Свекровь попыталась ее отговорить, но мама была непреклонна. Она твердо решила, что отныне и впредь ее не должно волновать, что о ней думают другие. Даже когда я уже родилась, она каждый день исчезала из дома с утра до вечера, истекая грудным молоком, оставляя меня ненакормленной.

– Бери ее с собой, – сказала моя дади-ма, когда я достаточно подросла. Отношения между мамой и бабушкой к тому времени испортились еще больше, а моя вторая бабушка, мать отца, меня не любила. Еще одна девочка, еще одно наказание на ее голову.

Так я стала исчезать вместе с мамой. Мы выходили из дома с утра пораньше и возвращались уже ближе к ночи. Каждый вечер она приходила домой, пропахшая потом и радостью, – и однажды вообще не пришла.

Историю маминой жизни не найдешь в старых фотоальбомах. Эта история хранится в пыльном металлическом шкафчике у нее дома. Мама не запирает дверцу. Может быть, потому, что, с ее точки зрения, ничего ценного там внутри нет. Или, может быть, она надеется, что содержимое шкафа однажды исчезнет само по себе. Но открыть дверцу все равно непросто. Хотя в Пуне не так уж и влажно, петли насквозь проржавели, шарниры почти намертво заклинило, а внутренняя сторона дверцы покрылась тонким налетом плесени. Шкаф как будто подняли с морского дна.

Внутри – стопка сари. Метры и метры тканей, аккуратно переложенных папиросной бумагой. Одежда из других времен: парчовые банараси, сотканые с вплетением мерцающих золотом нитей. Среди всего этого великолепия особенно выделяется мамино свадебное сари. Самое красивое, самое тяжелое из всех нарядов. Ткань очень жесткая, почти хрустящая. От нее пахнет йодом и нафталином, но золотое шитье не потускнело со временем, не утратило своего блеска. Это значит, оно настоящее. Подлинный драгоценный металл. Бабушка с дедушкой не поскупилась. Потратили целое состояние, чтобы справить достойный наряд для своей единственной дочери. Красный свадебный цвет такой яркий, что режет глаза. Остальное приданое хранится на той же полке: отборные сари и ткани, чистый шелк и богато украшенная парча, – одежда, которая ознаменует для юной невесты переход в новую жизнь в новой роли замужней женщины, наиглавнейшей из всех предназначенных ей ролей. Предполагалось, что этих нарядов ей хватит на год вперед и муж не почувствует бремени новых расходов, связанных с появлением в доме жены. Или почувствует, но не сразу. Теперь все это богатство пылится в шкафу: туссарский шелк рубиновых и изумрудных оттенков, дупатта, украшенная узелковой вышивкой, сари кандживарам пастельных цветов и даже ярко-зеленая бархатная патола.

На нижних полках – совсем другая одежда. Эту одежду я помню. На нескольких старых хлопчатобумажных футболках виднеются выцветшие принты, но в основном здесь все белое. Чистая, нетронутая белизна. Если я подношу эти вещи поближе к лицу, то по-прежнему чувствую мамин запах, словно она их носила буквально вчера. Он пробивается даже сквозь запах пренебрежения, сырости и тоски, что рождается при долгом отсутствии солнечного света. Это простой, грубый хлопок. Будничная, совершенно не праздничная одежда. Но белый цвет все еще яркий, где-то почти ослепительный, где-то чуть отдающийся в синеву: цвет вдовьего траура, цвет скорбящих и безутешных, цвет отрекшихся от земных благ, цвет святых и монахов, цвет просветленных, больше не принадлежащих этому миру, уже шагнувших одной ногой на другой план бытия. Цвет гуру и его верных учеников. Возможно, для мамы эти белые хлопковые одежды были способом обрести свою правду, таким чистым листом, на котором она заново переписет себя и найдет путь к свободе. Но для меня они означали совсем другое. Белый саван, накрывший нас с ней, как живых мертвецов. Белый, настолько строгий и непреклонный, что это уже выходило за рамки приличий. Белый как метка изгоев. Для мамы – цвет ее общины, а для меня – цвет предельного разобщения. Эти белые одежды отделили нас от семьи, от друзей и от всех остальных. Из-за них моя жизнь на несколько лет превратилась в тюрьму.

От моего дома до маминого можно добраться пешком за сорок пять минут, если идти самой короткой дорогой и подолгу не ждать «зеленого» на переходах. Путь лежит мимо трех торговых центров, расположенных как бы в вершинах чуть скособоченного треугольника. В одном из них есть кинотеатр, и в дни громких кинопремьер стоянка у входа забита машинами.

Двухполосный автомобильный мост пересекает узкую речку, которая разливается в сезон дождей и почти полностью пересыхает в разгар лета. Иногда вонь стоячей воды и гниющего ила доходит до маминых окон. Берега плотно застроены. Сплошь элитные жилые комплексы и пятизвездочные отели, непременно упоминающие вид на реку на своих сайтах. На заборах вокруг стройплощадок висят гигантские щиты с рекламой индийских мыльных опер и косметических средств для отбеливания кожи.

Утренний поток машин замирает на каждом углу. Вся Пуна – сплошная дорожная пробка. Каждый взрыв воя клаксонов бьет по ушам, я всерьез опасаясь оглохнуть. Скоро наступит зима, будет резкое похолодание. Жизнь застынет, замедлится. Зимой люди вялые и неспешные. Резкие движения чреваты шизофренией и большим горлом.

Уже на маминой улице я прохожу мимо лавки зеленщицы Хины. Раньше она торговала с тележки на улице, а теперь стала владелицей настоящего магазина. Дилип говорит, что она являет собой образец современной индийской истории успеха и что о ней надо написать книгу. Я машу ей рукой, но она меня не замечает. Не видит. У нее отслоение сетчатки, но она не желает ложиться на операцию. Рядом с ее магазинчиком – парикмахерская под названием «Рай для волос Муниры». Дилип однажды заметил, что фраза построена криво, получается, что в раю пребывают только волосы самой Муниры, а всем остальным рай не светит. Чуть дальше – аптека, где продаются электроприборы, а прямо напротив, на другой стороне улицы – магазинчик электроприборов, где незаконно торгуют лекарствами.

У калитки при входе на территорию жилого комплекса меня приветствует старый привратник. Я жду лифта, здороваюсь с миссис Рао, которая хмурится, глядя на меня, а ее померанский шпиц гадит прямо на пол у цветочного горшка. Грязь намертво въелась в прогнившие швы между напольной плиткой. Плитка расшатана и болтается под ногами. Ремонта в доме не было много лет, он потихонечку рушится, подобно многим другим домам в Пуне. Я вхожу в мамину квартиру, открываю дверь своим ключом. Я себе сделала дубликат.

В прихожей курятся семь ароматических палочек. Я кашляю, мама выглядывает из кухни. Я слышу запах арахиса, жарящегося в масле вместе с семенами тмина. Я снимаю кроссовки, как обычно, не расшнуровывая. Холодный пол пахнет молоком с лимонным сорго. Окно кухни выходит на восток. В окно льется свет. Мама – темный силуэт у плиты. Она опрокидывает в кастрюлю миску разбухшей тапиоки, накрывает кастрюлю крышкой и оборачивается ко мне:

– Ты уже завтракала?

Я отвечаю: нет. Хотя я уже завтракала.

Я накрываю на стол, как мы привыкли: ставлю стаканы для воды и простокваши, не кладу ложку для мамы, потому что ей нравится есть руками. Она расставляет мисочки с острым перцем. Красный – сухой, молотый в порошок. Зеленый – свежий и мелко нарезанный. Кастрюля ставится прямо на стол, и, когда мама снимает крышку, над столом поднимается облако ароматного пара.

Я беру себе щедрую порцию. Шарики тапиоки рассыпаются по тарелке, оставляя блестящие следы.

Отправляю в рот первый кусок.

– Кое-чего не хватает.

– Чего не хватает?

– Соли. Лимона. Картошки.

Мама откусывает кусочек и медленно жует, откинувшись на спинку стула. Я жду, что она психанет, но она молча встает и идет в кухню. Я слышу, как открывается и захлопывается дверца холодильника. Слышу, как мама гремит посудой. Она возвращается с крошечным подносом и ставит его на стол. На подносе – солонка и мисочка с лимонным соком.

– А как же картошка?

– В сабудану кичади никогда не кладут картошку.

– Ты всегда раньше клала.

Она медлит с ответом.

– Сегодня картошки не будет.

Я гоняю по тарелке шарики тапиоки и смотрю на нее.

– Не надо так на меня смотреть.

– У тебя несерьезный подход.

Она смеется, запрокинув голову. Я вижу кусок пережеванной тапиоки, прилипший к ее зубам.

– Несерьезный подход к чему?

– Зачем ты сказала Дилипу, что я вечно вру?

– Я такого не говорила.

Теперь мне действительно начинает казаться, что ее забывчивость – очень удобное свойство. Замечательная отговорка, чтобы не отвечать за свои слова и поступки. Мне кажется, это нечестно: она так легко забывает о прошлом, в то время как я переполнена прошлым почти до отказа. Я заполняю воспоминаниями блокноты, шкафы, целые комнаты, а она, моя мать, погружается в благостный туман забвения. С каждым днем глубже и глубже.

Она откусывает еще кусочек.

– Говорят, что, когда начинает отказывать память, пробуждаются другие способности.

– Какие способности?

– Кто-то видит свои прошлые жизни, кто-то беседует с ангелами. У кого-то открывается дар ясновидения.

– Ты сумасшедшая.

Я вынимаю из сумки блокнот. Открываю последнюю страницу и добавляю сегодняшнюю дату к списку на сорок с лишним пунктов. Рядом с датой пишу: «Картошка».

Мама шурится, глядя на мой блокнот, и качает головой:

– Как тебя терпит твой муж?

– Что ты вообще понимаешь в семейной жизни, если ты даже не замужем?

Когда я говорю, мама шевелит губами, и у меня мелькает мысль, что она мне беззвучно суфлирует. Мы уже говорили такое раньше? Те же слова, те же фразы? Я жду ответа, но время идет, и молчание затягивается. У меня вспотели подмышки, и все внутри вздыбилось.

Она улыбается. В ярком солнечном свете ее зубы кажутся нечеловечески острыми. По моему, ей нравятся эти неловкие паузы в преддверии очередной бурной сцены. Мое сердце бьется быстрее, дыхание учащается. Я тоже готова к схватке.

Легонько похлопав меня по руке, она тычет пальцем в мой блокнот:

– Вместо того чтобы переживать о моем сумасшествии, ты бы лучше побеспокоилась о своем.

Я смотрю на свой список – на ровные линии и колонки – и беззвучно захлопываю блокнот. Шарики тапиоки у меня на тарелке уже начали подсыхать. Накал страстей потихонечку остывает. Через пару минут мы забудем о резких словах, сказанных друг другу.

Накапав немного лимонного сока в чашки с горячей водой, мы идем на балкон. На веревке сушатся мамины бюстгалтеры. Старые и застиранные, латанные-перелатанные.

– Выкинь их и купи себе новые. – Я прикасаюсь кончиком пальца к тусклому кружеву на одном из самых заношенных экземпляров.

– Зачем? Кто их видит?

Внизу, во дворе, младенец заходится плачем на руках у няни. Женщина яростно укачивает орущего малыша и о чем-то беседует с привратником. Истошные вопли ребенка напоминают крик зверя, которому больно. Мы сидим молча и ждем, когда он устанет кричать, но ор продолжается без перерывов. Няня все так же неистово укачивает своего подопечного, тяжело дышит, в панике озирается по сторонам и, наверное, надеется, что хозяева ничего не услышат.

Я говорю:

– Не понимаю, почему ты не хочешь купить себе новые бюстгалтеры.

Я не планировала возвращаться к этому разговору, но почему-то вернулась. Ребенок по-прежнему плачет. Я гадаю, чего он хочет, и сама толком не знаю, почему меня это волнует.

– Я должна быть примером.

– Примером кому?

– Тебе. Нельзя все время переживать, что скажут другие. Не все в этой жизни – показуха для мира. Иногда мы делаем что-то лишь потому, что нам так захотелось.

Если бы наши с ней разговоры были картой маршрутов, то все дороги неизбежно сходились бы в этом пустынном тупике, из которого нам не выбраться при всем желании.

Я знаю, к чему все идет, но глотаю наживку:

– Ты считаешь, я делаю что-то, чего мне не хочется?

Она изображает великодушный порыв уклониться от разговора:

– Давай не будем опять начинать...

Категоричный отказ от уловок:

– Ты сама начала.

Встречный отказ:

– Не заводись. Это не важно.

Уже неприкрытая злость:

– Для меня важно.

Дальше все развивается по предсказуемому сценарию. Она спрашивает, почему я никак не оставляю ее в покое, почему вечно набрасываюсь на нее, словно бешеная собака с оскаленными клыками. Тебе больше нечем заняться, говорит она, кроме как издеваться над собственной матерью?

Не замешкавшись ни на секунду, я говорю, что она всю жизнь думает только о себе. Она делает обиженное лицо, но лишь на секунду.

– А что в этом плохого, когда человек думает о себе?

Я упираюсь в обычный тупик. Дальше хода нет.

Я хочу перечислить по пунктам, что в этом плохого, но никогда не могу подобрать нужных слов. Хочу спросить у нее, что такого ужасного в том, чтобы прислушиваться к желаниям других и делать что-то приятное близким людям. Мама всегда избегала любых притеснений. Избегала всего, что виделось ей посягательством на ее драгоценную свободу. Брак, диеты, медицинские обследования. В ходе этого бегства длиною в жизнь она растеряла весь «лишний жир». Так она называет людей, ей неприятных. Говорит, что ее не прельщает общество самодовольных унылых невежд. И никогда не прельщало. Неприязнь, кстати, была обоюдной. Многие мамины сверстники в клубе давно от нее отвернулись. Родственники старшего поколения, питавшие нежные чувства к малышке, которой они ее помнят, либо охвачены старческой немощью, либо мертвы. Да, рядом с мамой есть люди, которые ее любят, но, мне кажется, их исчезающе мало. Мне кажется, мы всегда были одни.

Она сама выбрала такую жизнь. Возможно, в ней есть свои плюсы, но лично мне видятся только минусы. Сплошные потери. Оно действительно того стоит? Она сама верит, что оно

того стоит? Я пытаюсь представить, что она чувствует, когда я ухожу, возвращаюсь обратно к Дилипу, а она остается одна. Может быть, для нее это был вовсе не выбор, просто однажды она придумала себе путь – не такой, как у всех остальных, – и идет по нему исключительно в силу привычки, потому что не знает других путей. Я давно собираюсь спросить: ты столько лет убегаешь от всех и вся, неужели тебе ни разу не захотелось остановиться и крикнуть: «Я здесь! Почему вы за мной не бежите?» Может быть, ей как раз и хотелось, чтобы ее догнали, вернули домой и убедили, что она им нужна, что им без нее очень плохо?

Но все эти вопросы растворяются в небытии, когда я вижу, как мама сидит, откинувшись на спинку стула, и потягивает свою кислую воду. Она закрыла глаза и что-то тихонечко напевает под аккомпанемент воплей младенца.

Дилип решил обратиться в вегетарианство, потому что вчера в Америке лев убил львицу.

Они оба выросли в зоопарке, в одном вольере. Прожили в неволе всю жизнь, неоднократно спаривались друг с другом. Львица рожала детенышей, которых у нее отбирали совсем в раннем возрасте. И вот однажды, в людные выходные, лев и львица сидели в своем вольере, мимо ходили детишки, тыкали в них пальцами, спрашивали у родителей, настоящие ли это львы, как те, которых показывают в передачах на канале «Нэшнл географик». В газете зачем-то об этом упомянули, словно львы поняли, о чем идет речь, обернулись друг к другу и сказали: *«Дети интересуются, настоящие мы или нет. Давай-ка покажем, какие мы настоящие».*

И лев откусил львице голову.

На самом деле не откусил, а взял ее голову в пасть и держал, не давая ей вырваться, пока она не задохнулась у него во рту на глазах у вопящих людей.

Автор статьи ставит перед читателем ряд вопросов: возможно, львы были в депрессии? Возможно, здесь мы имеем ту же проблему, что в «Морском мире» и других дельфинариях? Возможно, это не единичный случай, а лишь один из примеров масштабного явления, которое пытаются скрыть от широкой публики? Насколько вообще правомочно держать животных в неволе, представлять зоопарки учреждениями культуры и отдыха и поощрять их как развлечение для детей? Разве общественность не имеет права знать правду?

Дилип говорит, что зоопарки он ненавидит с детства. Нет ничего хуже, чем глазеть на живое существо в клетке. Те же самые чувства он испытывал при изучении колониальной истории. В учебнике была картинка на всю страницу: изображение готтентотской Венеры с цепью на шее и сигаретой во рту. В сопроводительном тексте говорилось, что после смерти ее тело расчленили и часть ее органов выставили в заспиртованном виде на всеобщее обозрение в музее. Дилип рассказывал мне, что подростком, когда они всей семьей ездили в Бомбей, он не ходил на пляж в Джуу, потому что двоюродный брат однажды сказал, что когда-то здесь погибали верблюды: задохнулись во влажном воздухе. Их гигантские легкие отсыревали, как намокшие наволочки.

Есть вещи, которые по-настоящему задевают моего мужа, и невозможно заранее предугадать, что именно его заденет. Он ел кейл еще до того, как на него пошла мода, и однажды попробовал сварить мыло в домашних условиях. Летом он выставляет на подоконник миски с водой, чтобы птицы, страдающие от жажды, могли попить. Расизм, сексизм и жестокое обращение с животными, с его точки зрения, вещи одного порядка, и он не делает между ними различий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.